18+

НИКОЛАЙ БОРОВОЙ

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
РОМАН ПО КАНВЕ СОБЫТИЙ
ХОЛОКОСТА
ТОМ II



Николай Боровой

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том II. Часть III и IV (Главы I-XI)

«Издательские решения»

Боровой Н.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том II. Часть III и IV (Главы I-XI) / Н. Боровой — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-550710-5

Он — профессор философии Ягеллонского университета, смутьян и бунтарь, сын великого еврейского раввина, в далекой юности проклятый и изгнанный из дома. Она — вдохновенная и талантливая пианистка, словно сошедшая с живописных полотен красавица, жаждущая настоящей близости и любви. Чудо и тайна их соединения совершаются в ту страшную и судьбоносную ночь, когда окружающий мир начинает сползать в ад…

ISBN 978-5-00-550710-5

© Боровой Н.
© Издательские решения

Содержание

ТОМ II 6
Часть третья 7
ЧАС БЕСОВ 7
Глава первая 7
Долг есть долг 7
Глава вторая 19
Пасть свиньи 19
Глава третья 34
Осколки истины 34
Глава четвертая 58
Герр Оберштурмбаннфюрер 58
Глава пятая 74
Дурман 74
Конец ознакомительного фрагмента. 102

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ
Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том II. Часть III и IV (Главы I-XI)

Николай Боровой

© Николай Боровой, 2021

ISBN 978-5-0055-0710-5 (т. 2)
ISBN 978-5-0055-0711-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ТОМ II

Часть третья

ЧАС БЕСОВ

Глава первая

Долг есть долг

Сказать, что герр Бруно Мюллер, оберштурмбаннфюрер СС и командир айнзацкоманды, проснулся в дурном настроении – значит ничего не сказать: дай ему волю, он бы зашиб кого-нибудь, ей-богу. Когда в Ольденбурге или любимом сердцу Вильгельмсхаффене случалось подобное, он так собственно и поступал – вызывал на допрос спозаранок какого-нибудь особенно грязного и раздражающего скота из числа заключенных, коммуниста или подонка-интеллигентишку, и долго, с наслаждением, не теряя контроля над собой, разбивал об того носки сапог. Как правило – это приводило нервы и настроение в порядок. Сегодня, однако, это было не возможно. Ну хотя бы потому, что не было времени. Оберштурмбаннфюреру надлежало как можно скорее привести себя в должный вид, сесть в служебный «опель», и наблюдая из окна промозглую осеннюю погоду, напрасно пытаясь хоть чуть вздремнуть, ехать из штаб-квартиры айнзацгруппы «b» в Краков, чтобы осуществлять, воплощать фантазии хитрого проныры Беккера. А Беккер – как всегда: ушлый карьерист, держащий нос по ветру, и от затей его бывает хоть стой, хоть падай, ей-богу. Кампания прошла на редкость удачно, настроение у всех на подъеме, чуть ли не «крылья за спиной вырастают», и идеи рождаются под стать. Чем более безумную фантазию нынче предложи – тем больше прослывешь воплотителем великих идей Фюрера и найдешь одобрение на самом верху. Великой воле немцев, ведомых Фюрером – великие планы и масштабные дела, воле немецкого народа нет преград и не может быть ничего, ей недоступного. С Фюрером и вставшей с колен, да еще как вставшей нацией, по пути лишь тем, в ком дышат вера в дело, энергия и отблеск великой воли Фюрера. Осторожность и умеренность нынче не в чести – еще чего доброго прослывешь скептиком, не изжившим в себе «дух версальского пораженчества», сдерживающим волю нации «балластом», а уж хуже этого быть не может: на карьере можешь поставить крест. Зашлют в какой-то закуток с городком и десятком деревень, от скуки кресты на кирках поникли, и покрывайся там пылью. Короче – Беккер, раздери его трижды черт, выдумывает и масштабными проектами выслуживается, зарекомендовывает себя в Высшем штабу СС в Берлине, а голова болит у Мюллера, потому что его фантазии должен претворять в жизнь именно Бруно Мюллер. Лавры же от реализации этих затей достанутся опять-таки Беккеру, который в отчетах уж конечно не преминет выставить собственную роль на первый план и разлиться о своей верности долгу. Вот так всегда – кто-то выволакивает на себе дело и делает всю грязную работу, а кто-то снимает «сливки» и пьет шампанское. Всё это само по себе приводило в ярость, давно уже бесило и двухмесячное прозябание посреди сырой осени в воняющих навозом польских деревнях на новой границе с русскими, а тут еще суть затеи – ну уж совершенно сумасбродная. Саму мысль поляков о сопротивлении нужно сломить, а не то что их волю, они должны быть сломлены и раздавлены как нация – так требует Фюрер. Поляки должны четко понимать, что в новом порядке, который строят Фюрер и Великая Германия, никакой их национальной независимости места нет, на веки вечные, должны принять это и смириться, и Фюрер требует ряд внятных мер, ясной

и эффективной политики, которые бы эту главную установку воплотили. С одной стороны, Беккер конечно прав – надо нанести мощный, нокаутирующий удар по польской интеллигенции: с интеллигенции всё, всегда и везде и начинается, она вечно мутит воду, особенно у поляков. Ему ли – все последние годы отлавливавшему и давившему решивших «погеройствовать» и «поиграть в подполье» очкатых клопов, этого не знать. Всё верно, нанести удар по интеллигенции – равно что обезглавить поляков, и без того хорошо напуганных стремительной и удачной компанией, получивших наконец-то по заслугам и потерпевших сокрушительный крах. Тем более – Краков избран столицей генерал-губернаторства, принимаемые в Кракове меры станут общей политикой и прецедентом, и немецкое доминирование в Кракове должно быть безоговорочным. И тем более, что он как вообще выясняется – старинный германский город. Цель ясна и очевидна – из польского Краков должен стать на сто процентов немецким городом, олицетворением торжества империи на Востоке, поляки должны забыть, что этот город принадлежал им и был символом их страны, которой уже никогда не будет. Они, собственно, должны в кратчайшей перспективе забыть и о своей стране. А значит – польскую университетскую интеллигенцию в Кракове нужно нейтрализовать, в особенности «загнать под лавки», никакого «польского духа» в городе остаться не должно. Во всем этом Беккер прав, вопрос как всегда в средствах. А в средствах нынче не считают необходимым стесняться и считаться. И вот – родилась идея: закрыть университет в Кракове и изолировать его академический состав, профессоров и доцентов. Нет, ничего себе задачка, да? Там одних профессоров, как ему наскоро собрали сведения, почти двести человек! И потом – надо уметь просчитывать последствия. Удар может произвести желанное воздействие, до смерти испугать и как говорится «загнать под лавки», но может оказаться слишком сильным и привести к результатам неожиданным, проще говоря – к бунту, к организации какого-то сопротивления. Поляки, что не говори, боролись за свободу в подполье, без страха перед русскими виселицами бунтовали полтора века. Шутка ли сказать – он еще не вдавался в детали, но академической среде не чужд и навскидку может утверждать, что фигур с мировым именем среди двух сотен краковских профессоров – ну точно не один десяток. Поднимется вой. Зачем, если нагнать страху и добиться того же эффекта можно совершенно иначе, старыми добрыми методами? Точечно, как учили. Арестовать под благовидным предлогом две-три знаковых фигуры, еще несколько – с ясным намеком заставить «покончить с собой» или «трагически погибнуть», одновременно издать жесткие предписания – и без радикальных мер и лишнего шума дело будет сделано: испугаются, заткнут рты, усвоят правила игры. Так было всегда и поляки – не исключение. Профессор ты, мировая величина, гордый поляк, но дуло, приставленное к виску – более чем убедительный аргумент. Заткнутся, куда денутся, «залезут под лавки». Всё это он и высказал и самому Беккеру, и не только. Но верх взяли затеи Беккера, чертового проныры. Времена!

…Впрочем, ничего невозможного тоже конечно нет. Задуманное Беккером – гораздо более умеренная акция чем к примеру та, которая проводилась во время Аншлюса, когда почти то же самое количество человек, по лично составленным Фюрером спискам, «гестапо» и СС просто ликвидировали. «Нет человека – нет проблемы» – этот принцип Фюрера стал тогда девизом и надо признать, себя оправдал. Так что куда деваться, работу свою он знает и сделает ее как всегда хорошо, и станут затеи Беккера реальностью, дайте ему только приехать в Краков и разобраться в остановке…

…Чертов Краков – он не полюбил этот город с первой минуты, еще во время своего первого приезда в десятых числах сентября, перед отсылкой на Восток. Этот город, с кучей евреев, если не дай бог застрять в нем, обещает до черта хлопот и головной боли. Нет, скуки деревенской он не любит, ему нужна возможность делать что-то и проявить себя, но и головной боли тоже не ищет, тем более, что награды за нее конечно не жди. А проклятый Беккер, понимая всю важность Кракова как столицы генерал-губернаторства и необходимость в городе максимального порядка, похоже, метит его как раз на место шефа краковской полиции, уве-

ренный, что он справится. А если он справится, то Беккер сумеет отослать блестящие отчеты в Берлин и соберет хорошие сливки. Он-то конечно справится, ибо долг и работу свою знает, на таких как он – простых, верных долгу и делу служаках партии и СС всё и держится, но на кой черт ему всё это нужно, позвольте, и почему он должен потеть, чтобы кто-то на сделанном его руками набивал себе авторитет в Высшем Штабу и окружении Фюрера?! Есть, раздери черт, в этом мире справедливость или нет?! Единственное, что ободряет – если он хорошо провернет дело, быть может ему удастся обойти Беккера и выбить себе какое-то приличное место в Рейхе. Ради этого стоит потерпеть. Он вообще был доволен местом шефа «гестапо» в Вильгельмсхаффене, с удовольствием остался бы там и совершенно не был в восторге, когда его задействовали в кампании и приписали к приданной армии генерала Листа айнзацгруппе. В Рейхе достаточно работы для людей с чувством долга и знающих дело. Нет, еще не было порученного ему дела, которое он не провернул бы на самом высоком уровне, отыскивая простые как удар в нос или челюсть, и потому всегда эффективные решения. Он – человек долга и будет заниматься делом там, куда его пошлют Германия и Фюрер. Но он предпочел бы Рейх. Спокойную работу с агентурой, кропотливую и увлекательную, похожую на шахматную партию работу по выявлению и удушению подполья, он в этом мастер. А видят в нем почему-то всегда мясника или командира роты на передовой.

Собственно, если он по настоящему чего-то и хочет, что-то вынашивает как цель и трепетную мечту, будучи готовым ради этого бороться и потеть – то это именно продвижение на Родине, в Рейхе… дома. Должность главы «гестапо» в каком-нибудь крупном, старом городе, где есть чем утолить тоску и ты будешь виден большому начальству, а потому будешь исполнять долг и исходить ради этого потом не зря, сможешь однажды рассчитывать на продвижение в столице. Вот хорошая должность в Берлине – это и вправду цель, заветная мечта! Тут и раскрыть волю, служебный талант, преданность долгу и множество разных других качеств, но при этом получить заслуженное вознаграждение – уважение коллег самого высшего ранга, славу человека долга, полезного Родине и общему делу… да и сторону практическую, денежную отбрасывать нельзя… И он уверен, что всё это доступно его рвению, чувству долга и служебному таланту, положено ему по праву.. Только вот путь к этой цели может оказаться очень витиеватым и неожиданным, кажется – ведущим поначалу совсем в другую сторону. С места шефа «гестапо» в Вильгельмсхаффене, несмотря на стратегическое значение города, рассчитывать на это было нельзя, а шатание по польской провинции, пусть даже в значительных должностях, на которые его так хочет заполучить чертов проныра Беккер, совсем не обязательно к этому приведет. Дело ты будешь делать, долг исполнишь, измотаешься и отдашь всего себя, только вот мало кому из высших чинов это станет известно, «сливки» вместе с чинами, карьерными предложениями и прочим заберет кто-то другой, под «мудрым надзором» которого ты служил нации и Фюреру. Однако – судьба сложилась именно так, ничего не поделаешь Он призван в кампанию и обязан исполнять долг, а долг нынче велит на высшем уровне, с любовью к работе и уважением к себе самому провернуть затею Беккера, которой тот так увлек местных «бонз». Дело надо делать, долг обязан быть выполнен, а устав – соблюден. Он лишний раз подтвердит его прочно состоявшееся за последние годы имя, зарекомендует себя в новых условиях и продолжит делать это, постаравшись из всех интриг, которыми его за спиной и во имя собственных целей оплетает Беккер, заполучить что-то для себя наилучшее. Такова ситуация и единственный путь с ней разобраться. Долг есть долг, судьба и долг не спрашивают. А дальше… Дальше – либо он так проложит себе путь к заветной цели, в Берлин, в какой-нибудь департамент в Рейхсканцелярии или Управлении Имперской Безопасности, где по настоящему большие «бонзы» и великие люди времени быть может сумеют разглядеть его талант и полезность делу и долгу, оценят его по достоинству, либо… Либо же судьба сыграет с ним дурную шутку, его достоинства, талант и верность долгу снова станут для него бедой, и вместо полезной и спокойной работы на Родине, его опять используют «на передовой»,

в самой гуще каких-нибудь очередных событий, которых конечно же обещает быть вдосталь, ибо нация под руководством Фюрера только начала путь к ее вечному величию и торжеству… Успех кампании и «крылья за спиной», выросшие чуть ли не у адьютантов и водителей штабных машин, об остальном и говорить не надо, указывают на это ясно. И тогда он точно так же будет блестяще, с опытом и знанием дела, с преданностью нации и Фюреру исполнять долг, чтобы это не означало и куда бы не занесли ноги. Ибо долг есть долг.

Нет, он бы как раз совсем не против где-то прочно осесть, ему уже, всего после двух месяцев службы в оперативной айнзацгруппе, мотающейся за армией Листа как хвост за бешенной лисой, надоело до чертиков. Он любит город, любит обустроенную, налаженную городскую жизнь с устойчивым и выверенным порядком дел, позволяющую погрузиться в работу, он по большому счету испытывает настоящее наслаждение от работы именно в таких условиях. Нет, он любую работу конечно же делает так, как требует долг, и еще не было порученного ему дела, за которое кто-то имел бы основания или захотел предъявить к нему претензии! Злая издевка судьбы состоит в том, как он иронизирует в мыслях, что именно из-за этого он всегда оказывается нужен в самом пекле, на передовой событий, где надо заставить многотысячную толпу, со страхом и исполнительностью, словно отточенный механизм делать именно то, что требует воля Фюрера и начальства, или становится нужно превратить в кровавое месиво несколько десятков подпольщиков, но задушить желание бунтовать в корне. Всё так – именно из-за этого его вечно шлют в самую гущу разворачивающихся событий! Увы, его преданность делу и долгу становится его несчастьем, похоже – всё более и более превращается в его обреченность по делам службы скитаться бог знает где. Мысли об этом приходили ему уже не раз. Так что он наоборот – рад бы осесть прочно в каком-то не лишенном приятности месте, перестать кочевать, спать где и на чем попало, просыпаться ночью от холода и с проклятиями орать на денщика из под одеяла, чтобы тот бросил достаточно дров и наконец-то натопил комнату по человечески, черт знает что совать в рот, так что иногда не лезет и он вынужден отставить прибор и просто пить кофе и курить где-нибудь в стороне, душа раздражение и злость. Как это было сегодня утром, к слову. Он рад бы, но он хотел бы место в Рейхе и очень не хочет, чтобы это было в Кракове, по описанным причинам. Но не дай боже, чтобы все эти борения и планы стали известны многим – подобное сочтут просто слабостью, непригодностью для серьезного дела, и тогда пиши пропало: вместо уютного места, где можно обстоятельно и с душой заниматься работой, городок с поникшими крестами и на другое можешь уже не рассчитывать.

Он с серьезностью относится к своим опасениям, они имеют основания, вот ей-богу. Он опытный человек, он знает свое дело. Он умеет безжалостно лить кровь и разбивать наотмашь лицо допрашиваемым, чтобы заставить их говорить и задрожать, задушить в них всякую решимость замышлять что-то против Германии и воли Фюрера. Но осторожность и аккуратность в большой игре – он верит – это опытность и мудрость, путь, по которому движутся к тем же целям, но наверняка и с меньшими жертвами, хоть может и чуть дольше. И потому идея Беккера и тот единственно реальный план ее осуществить, который, пока «опель» ползет в Краков, уже почти сложился в его голове, вызывают у него опасения и сомнения. Это тоже конечно показывать уже нельзя. Ввязался в дело – забудь обо всем и рубись насмерть, пока не почувствуешь, что сделал нужное и намеченное, думать будешь после. Думать вообще нужно либо до дела, либо после – оценивая ошибки или успех, приходя к выводам, пытаться думать и отстраняться во время дела – сковать волю и решимость и наверняка всё погубить.

Однако – если быть уже совсем честным, он испытывает и некоторый подъем. Такого давно не было – политика обезглавливания и подавления покоренной страны через массовую нейтрализацию сливок интеллигенции и закрытие университетов, в конце 30-х годов будет исключительной наглостью, которая конечно покажется выродкам из Англии, Франции и США варварством, но на самом деле, эта политика станет лишь голосом, символом немецкой воли и мощи. Да – она обнажит настоящие планы Германии и Фюрера: нацеленность на новый поря-

док и отсутствие в таковом места для независимых славянских государств, полное порабощение окружающих народов и уничтожение их государственности, это так. Однако – после блестящей, триумфальной кампании и отлично, что маски будут сброшены: это безусловно вселит ужас в тех, кто еще два месяца назад, увидев подобные перспективы, был бы возможно куда более решительным. Дело настолько необычно, что будучи достойно выполненным, оно обещает стать настоящей легендой, войти в историю. И ради этого конечно тоже стоит потерпеть.

О, он любит его работу и умеет делать ее отлично, с преданностью долгу и чувством ответственности, подчас с истинным вдохновением и воодушевлением! Оттого-то у него уже немало лет есть имя и соратники по делу и коллеги, самого разного ранга, уважают его. Оттого он по праву уважает сам себя. И вот – какие бы справедливые сомнения и опасения его не смущали, в нем уже проснулся азарт профессионала и игрока, человека, который привык делать доверенную работу умело, ответственно и талантливо, со вдохновением и уважением к самому себе – он с усмешкой подмечает это, пока трясется в штабном «Опеле» и прикидывает, думает о том и другом. И он уже начинает целиком погружаться в так или иначе предстоящее дело. Акция в любом случае должна состояться, произойдет вне зависимости от его продиктованных опытом сомнений и не раз приходивших на ум, справедливых и честно, без обиняков высказанных доводов. И он поэтому уже целиком увлечен ею, провернет ее, уверен, отлично, превратит ее в легенду, его начинает захватывать столь знакомый в работе с подпольем азарт. Злит и свербит чуть ли не до ярости мысль, что славу и «сливки» получит быть может совсем не он, а тот, кто умело используя ситуацию, провернет дело его руками… да, это злит! Но во-первых – его имени и авторитету это всё равно послужит. Пусть не на том уровне, о котором он мечтает, в который с трепетом в душе и надеждами всё чаще мысленно заглядывает, но хотя бы среди самых ближайших соратников, от мнения которых зависят успешная работа, уважение и приемлемое ощущение себя, а так же любые реальные возможности продвижения. А во-вторых – его просто, по привычке и как старого, отличного служаку, увлекает само предстоящее дело, из которого и впрямь может выйти нечто легендарное. Дело вдохновляет – его необычностью и во многом беспрецедентностью, той силой немецкой воли и непобедимого, призванного подчинить мир и достигнуть великих целей немецкого духа, которая словно пощечина наотмашь проступит в нем. И пусть собака Беккер снова использует его руки и служебный талант, как уже случилось однажды, загребет себе львиную долю славы, но само дело стоит, чтобы попотеть и провернуть родившийся план с блеском. А его справедливые сомнения… что же! Если он всё-таки прав и его опыт не зря вызывал опасения и тревогу, то еще лучше выйдет… При мыслях об этом глаза оберштумбаннфюрера начинают зло и задорно блестеть, а потом превращаются в уже совсем маленькие щелочки… Беккеру и тем его подпевалам, которые яростно спорили во время последнего, пять дней назад состоявшегося обсуждения, придется хорошо попотеть и пошевелить задами, расхлебывая в этом случае последствия… Весьма, весьма нежелательные последствия! И несвоевременные – способные испортить картину торжества немецкой воли и победные, словно уносящие и рождающие самые фантастические планы настроения! И вот тогда, к его блестяще выполнившему долг и приказ служебному таланту, прибавится еще и вес его мнения, наконец-то услышанного и оцененного. И начнутся серьезные акции, в которых немецкая воля проявит себя именно так, как должна и единственно может – беспощадно, жестоко, не оставляя ни малейшего желания роптать и шанса не подчиниться ей. В том числе – и его руками. Он проявит себя, заслужит еще большее уважение к его имени, обретет лишние козыри в игре с Беккером, кажется всерьез решившим с долгим заделом использовать его, одновременно оставив его под собственным влиянием и контролем, словно коршун, намертво вцепившись в него. Оберштумбаннфюрер снова начинает закипать и заливаться в мыслях злостью. И ведь не отвертишься, не вырвешься – намертво! Так блестяще умеет играть, хитрая собака и проныра, уставом и должностными инструкциями, настроениями самого высшего начальства, что использует тебя, как ему нужно, а ты, даже

всё ясно понимая, просто отпляшешь по им написанному сценарию, безысходно и неотвратимо, и сделать ничего не сможешь! Злость окончательно сменяется в мыслях и душе оберштурмбанфюрера яростью, он полностью проснулся и пришел в себя, готов к службе и исполнению долга. Обошел несколько кабинетов, сказал о нем там и сям пару слов, заставил прямым приказом назначить его ответственным за проведение акции и вот, пожалуйста – он вынужден умело и с талантом воплощать чьи-то фантазии и кажущиеся ему неправильными, чреватыми последствиями инициативы! И не отвертишься, всё сделаешь с душой и блеском, ибо вообще привык относиться так к долгу и на кон поставлены репутация и лицо среди коллег! А «сливки» и почет получит тот, кто умно использовал тебя, словно пешкой сыграл тобой, зная как устроена система и за долгие годы научившись проворачивать на ее поле нужную партию. И не выкрутишься, всё видишь, но позволишь сыграть с тобой, ибо сделать ничего нельзя и тот, кто затеял игру, умнее и хитрее, глубже погружен в систему и ловчее дергает за нужные ниточки, ведь они ему гораздо доступнее. Да, ничего не поделаешь, долг есть долг и служить ему надо там, где требуют и ровно так, как вынужден. Обстоятельства, каковы они, увы. Он оберштурмбаннфюрер СС, находится на службе в военное время, и если долг и устав требуют от него делать то, что предписывают конкретные спущенные директивы, пускай даже бесящие в душе и противоположные самым трепетным желаниям, значит надо сцепить зубы и выполнить – умело, талантливо, ответственно. Как все предыдущие годы привык, вызывая откровенное или же затаенное восхищение. Однако, именно так, быть может, этим извилистым и не близким путем, ему в конце концов удастся обойти Беккера и добиться тайных, тщательно скрываемых мечтаний и целей…

Опель высаживает оберштурмбаннфюрера возле недавно созданной штаб-квартиры «гестапо» на улице Поморска, на окраине города. Лязг каблуков, вскинутые руки, «зиг хайль!». Он привычно отвечает. Он вообще любит эту музыку каблуков и «хайлей!», любит преданных делу и исполнительных людей вокруг – он чувствует себя внутри такой воодушевленной сплоченности уверенно. Когда все вокруг знают, что они должны и что им делать, готовы исполнять свой долг, работать легко. Людей вообще не трудно заставить делать самые страшные и немыслимые вещи – нужно только с натиском объяснить им, что они это должны и у них нет другого выхода. Главное – начать крутить рычаг, давить на механизм и заводить его, а заработает механизм сам, да так, как ты даже и не ожидаешь: опытный офицер СС, Бруно Мюллер прекрасно это знает. Беккер лично вышел на крыльцо встретить его, жмет руку, раскрывает обьятья – ох, хитрый лис, точно решил сделать всё его руками!

– Дорогой Бруно! – сразу же начинает Беккер, лишь двери кабинета закрываются за ним и еще несколькими офицерами – Вы прекрасно знаете, какое значение Фюрер и руководство страны придают подавлению национальной воли поляков, которое должно стать продуманной и не допускающей колебаний политикой, и потому – намеченным нами акциям. Все мы знаем нашу конечную цель, остается лишь тщательно определить рамки самой операции, и мы полагаемся в этом на Ваш бесценный профессиональный опыт. Вы, уверен, конечно уже имеете какую-то задумку и приехали не с пустыми руками, или же я плохо вас знаю! – Беккер всем видом изображает шутливое дружеское расположение, но при этом глаза его цепко вцепились в Мюллера, его симпатии к сослуживцам всецело определяются мерой их полезности делу и собственным планам.

«Еще бы ты не полагался! Ждут-то действий и возможности отрапортовать об успехах от тебя в первую очередь, от меня – после, и генерал-губернатор наверняка не будет долго держать тебя при себе, если ты не докажешь ему моими руками, что оно того стоит!» – Мюллер мысленно ухмыляется и отвечает:

– Конечно, господин группенфюрер, человек, верный долгу, не позволил бы себе и на минуту отложить в мыслях в сторону такое важнейшее для Германии дело. Я действительно обдумал кое-что. Но прежде скажите, решение об аресте всех профессоров и доцен-

тов Ягеллонского университета уже утверждено окончательно, нашим планам не будет дано обратного хода?

– Окончательно, Бруно! Более того – наши инициативы были оценены исключительно высоко. Готовится проект общего закрытия университетов и академических учебных заведений, даже средних школ и гимназий, представьте – полякам будет указано их место и оставлена возможность только начального образования. Политика генерал-губернаторства в этом вопросе практически определена. Эта нация должна быть сломлена, в самых основах, в ее духе, и оставить ее без возможности университетского брожения, направляющего руководства академической и творческой интеллигенции – важнейший к этому шаг, вы конечно понимаете. Однако, введение проекта в силу состоится только после успешного осуществления акции в Кракове – глаза генерал-губернатора, Фюрера и Германии устремлены на нас с Вами, и мы не должны ударить в грязь лицом!

«Ах, как он упирает на это мы» – зло ухмыляется Мюллер – «Через несколько дней в донесениях и рапортах останется только „я“, после имени генерал-губернатора, конечно. Однако – дело есть дело и долг – довести его до конца».

– Герр группенфюрер! Собственно – дело достаточно простое. Залогом успеха будет решительность, продуманность и точность наших действий. Во время нашей последней беседы я настаивал на точечных мерах, Вы же не одобрили их, считая их недостаточными. Я принимаю Вашу позицию и переношу ее на сам метод операции. Производить серию даже тщательно спланированных домашних арестов – не целесообразно и не эффективно. Наверняка, как это всегда бывает, произойдут какие-то сбои, ведь количество подлежащих аресту лиц значительно. Это в свою очередь породит совершенно неприемлемый шум посреди дела, могут возникнуть попытки бегства от запланированной акции, в данном случае, я считаю единственно правильным одновременный групповой арест.

Беккер прищуривает глаза и прячет довольный блеск в них – он не зря «выписал» себе этого гестаповского служаку из айнзацгруппы, увидите, тот провернет всё точно, и комар не подточит носа.

– Что же вы можете предложить, дорогой Бруно?

– Достаточно простую вещь. Общий принцип таков – поляки не должны ничего заподозрить, всё должно быть внешне очень благовидно и логично. Ну скажем, мы сообщим им, что кто-то, пусть хотя бы и я, почему нет, прочитает лекцию о планах Фюрера по развитию польского образования и науки – мы подадим это как попытку очертить рамки сотрудничества, их это обнадежит и они купятся, поверьте. Они и так пока чувствуют себя более-менее уверенно – Университет уже месяц как начал свою работу и никаких репрессивных мер со стороны немецких властей пока не было предпринято. Итак, мы потребуем собрания на эту «лекцию» всех профессоров и доцентов, обрисуем важность их единодушного и полного участия, которое будет призвано показать властям их готовность к сотрудничеству. Главное – быстрый и тихий арест, который, с Вашего позволения, будет произведен силами моей айнзацкоманды. Таковы общие рамки операции, к осуществлению которой я предлагаю приступить немедленно. Решительность – главное условие успеха акции, как и в целом всех наших начинаний под руководством Великого Фюрера. Главный вопрос будет в том, что случится далее. Возможно – общественность Кракова проглотит, убежденная жесткостью наших действий, а может быть – начнутся попытки организовать сопротивление действиям властей, но уверен, что опыт господина группенфюрера и коллег сумеет с подобными попытками, если те произойдут, разобраться как должно.

Беккер снова блестит глазами – чутье редко подводит его. Дело выгорит, и еще как! Этот человек, с холеным гладким лицом и большими, но всегда прищуренными до мелких щелочек глазами, с улыбкой, от которой пробирает холодок, похожий на врача или амбициозного адвоката (попробуй представь в нем настоящего мясника, способного не торопясь забить

насмерть заключенного), в его занятии делом казался группенфюреру натертым до блеска, отточенным средневековым кинжалом, от удара которого почти не возможно спастись, моментально проникающим в сердце. Он помнит, как впервые был поражен этим впечатлением в 36-ом году, во время совместной операции по выявлению и аресту коммунистического и антинацистского подполья – Мюллер олицетворял собой, ему тогда показалось, лед, внутри которого по чьей-то прихоти заключен расплавленный металл, был похож на ясного и холодного рассудком маньяка, который не успокоится, пока не заманит намеченную жертву и не искромсает ее, не изрубит ее в фарш топором, и Беккер подумал тогда, что этот человек может быть в иных обстоятельствах полезен, очень полезен! И когда в начале компании Беккер узнал, что Мюллер назначен в айнзацгруппу, «на всякий случай» приданную армии Листа, а значит – будет по большей части бесцельно шататься по польской провинции (не считать же и вправду серьезным занятием прогон евреев через Сан к русским), то подумал, что надо будет использовать этого человека сообразно его возможностям, подыскать ему настоящее дело. Он хотел бы остаться или продолжить службу в Германии, группенфюрер это знает, точнее – почти наверняка догадывается, несмотря на тщательные попытки Мюллера это скрывать и изображать ревностное служение долгу и беспрекословную готовность делать то, что ему поручают и там, где необходимо. Однако, ухмыляется мысленно группенфюрер, навряд ли ему, с его исключительными для дела талантами это удастся, слишком многие захотят использовать его таланты и силы в самом так сказать «пекле» работы. Путь Мюллер сыплет колкости – но сыграет в блистательно задуманную им, группенфюрером СС, главой полиции генерал-губернаторства Беккером игру. И так должно быть. Он находится в его звании и на его посту не просто потому, что ему почти пятьдесят три, а потому что очень давно научился расставлять своих подчиненных как шахматные фигуры разного достоинства и заставлять их делать то, что ему нужно и им придумано, в том числе – до глубины понимая их суть и побуждения и умея это использовать. Ах, как наш Бруно волнуется за судьбу своего участия в операции… точнее – за оценку оного… Долг – долгом, но хорошее место в столице Империи, особняк в предместье и уважительный шепоток на собраниях партии и Высшего Штаба СС, среди людей дела, не помешали бы, а (группенфюрер мысленно усмехается)!.. Что же – дело и вправду важное, план прост и хорош, и если всё пройдет как должно, то он, Герберт Беккер, будет честен с соратником и на должном же уровне упомянет имя и роль того в рапортах. После себя, разумеется. И вообще – хорошо бы основательно привязать этого человека к Кракову и делам генерал-губернаторства. Ну а если ужиться с герром оберштубманнфюрером на одном поле будет тяжело, у него, Беккера, без сомнений хватит возможностей красиво от того избавиться. Группенфюрер СС Герберт Беккер с воодушевлением встает со стула.

– Дорогой Бруно, я верю в Вас и в обреченность нашего прекрасного плана на успех! Приступайте немедленно, я придам Вам в помощь то количество людей, которое Вам необходимо. Да здравствует долг, да здравствует Великая Германия, да здравствует Фюрер! Зиг Хайль!

– Зиг Хайль! – привычно рявкает Мюллер, угрюмо отмечая про себя, что проныра группенфюрер манипулирует людьми в жизни с такой же непринужденной ловкостью, как в разговоре – местоимениями…

– — —

Ректор Ягеллонского университета Тадеуш Лер-Сплавински ощущал, что на данный момент, по прошествии ровно двух месяцев немецкой оккупации Кракова, он может быть собою доволен. Уже месяц и неделю Университет работает в практически штатном режиме, был открыт полноценный академический год и это – шутка ли? В оккупированной, разодранной с разных сторон стране, в которой происходят массовые казни мирных граждан на улицах – ярость и ненависть столкновения немцев и поляков обнажили себя сразу и немцы сходу показали, что не собираются стесняться в средствах (вспомнить хотя бы их месть за события в Бдыщеве), подлежащий его руководству Университет просто взял и начал работать, как

и замысливалось в теперь уже кажущиеся райскими дни весны и лета. Всем вокруг показывая, что польская жизнь продолжается и будет продолжаться, невзирая на оккупацию и события на улицах, поляки остаются собой, а Краков – польский город, древняя столица Польши, чтобы там не происходило. Останется таковым и будет. Принять решение запланировано открыть учебный год было не легко – это означало откровенно и дерзко показать своенравие новым властям, словно сказать, что их «нет», что для ректора и сотрудников Университета нету оккупации, а осталась их страна и законная польская власть, и они намерены продолжать жить, как намечалось. Обратиться к властям для согласования – всё равно, что снять шляпу перед хозяином и вообще, мало ли какие идеи подать им, не обратиться – проявить откровенную дерзость. Ректор выбрал второе. Пусть знают, что поляки так просто не покорятся. И если воли к борьбе и сопротивлению, как раскрыли события, не было у правительства и армии – тех, у кого она должна быть прежде всего, то такая воля есть у других, о которых с этой стороны обычно думают в последнюю очередь. Что же, если единственным, кто ныне способен бороться и противостоять, сохранять немеркнущим облик независимой страны, являются профессора – ботаники и биологи, врачи и лингвисты, философы и искусствоведы – да будет так, они, профессора, готовы. Он ведь не сам конечно решил всё это, а тщательно согласовав со множеством коллег. И год начался, всё пошло по намеченному и так это длится уже месяц с неделей, и потихоньку начинает вселять уверенность. Обезумевшим крестоносцам можно противостоять, если иметь решимость, волю и польский дух в сердце, не позволить зашугать себя, пусть даже вправду страшно – как это произошло с правительством и армией. Что же – они, «академические черви» и «книжная моль», с их пятидесятью, шестидесятью, семидесятью или даже еще дальше, станут примером и воодушевят, покажут, что такое быть и оставаться поляками. Они станут тем камнем, в который упрется немецкий сапог в его попытке растоптать и сломить поляков. Долг – это долг каждого, оружие в его руках или книга (книга тоже может быть оружием, не даром же они книги жгут), стар он или молод, как бы пафосно это не звучало. Старики вернулись с пенсии преподавать и поглядите на них – они бодры и полны блеска в глазах, как это кажется не было и в годы его, ректора Лер-Сплавински, молодости. Всё идет достаточно ровно, вот только бы понять, что значит сегодняшний утренний звонок. Да, хорошо бы понять…

Немецкий генерал-губернатор просит всех доцентов и профессоров Ягеллонского университета собраться на лекцию, которую прочтет какой-то там у них военный чин… Мюллер, кажется. Он дал согласие и взял на себя ответственность успеть всё организовать. Всё выглядело в разговоре весьма благовидно и обнадеживающе, и даже уважительно, что удивляло в особенности, ведь это первый прямой контакт властей с ректоратом работающего Университета, на который они сами же первыми и пошли. Фюрер сформировал программу развития образования и науки в Польше, и для ее воплощения необходимы осведомленность и сотрудничество польского академического истеблишмента и конечно, конечно же – профессоров и сотрудников старейшего Ягеллонского университета в Кракове, с них задумано начать! Всё так обходительно и достойно звучало в разговоре, и так отзывалось в его самых затаенных надеждах на то, что удастся сохранить нормальную работу Университета и при оккупационных властях, что он поддался порыву и немедленно выразил свое согласие. Трудно передать холод страха, который пробороздил его живот спустя четверть часа. Он вдруг представил себе, что через несколько часов, в аудитории номер 66 в Коллегиум Новум, как почему-то в точности было определено в разговоре, соберутся двести человек профессоров Университета, часть – читавшие лекции и задержавшиеся после рабочего дня, частью же специально вызванные по телефону. Старые или еще молодые, они – цвет нации, ее душа и ум, а то, что они несут в себе – знания, опыт, понимание горизонтов развития мысли и исследований, это в самом прямом смысле и без преувеличений ее будущее. И вот – эти двести человек в один момент окажутся в зале, в которую войдет какой-то военный немецкий чин, чтобы читать им, им – рас-

смеяться бы, если бы не хотелось плакать! – лекцию о планах бесноватого ублюдка касательно польской науки… А лекцию ли он будет читать?.. Всё в словах секретаря генерал-губернатора звучало очень солидно и логично, картина рисовалась вполне приемлемая… но увы – слишком многое произошло и происходит, чтобы холодок страха в животе не спрашивал настойчиво, а не случится ли что-то совсем другое… Что точно – страх и воображение не указывали, но что от оккупационных властей можно ждать чего-то очень и очень дурного, серьезного, с полетом их бесноватой фантазии, у которой, после моментального краха Польши, кажется исчезли последние границы, было очевидно. Спустя четверть часа, уже начав отдавать распоряжения, он это понял… до округления вперившихся в угол кабинета глаз понял и ощутил всю серьезность неожиданно возникшей, внешне кажущейся благовидной ситуации. И было уже поздно. Не было таких бранных слов по польски и по словацки, которых он не произнес бы в этот момент мысленно в свой адрес. Он всё делал более чем верно и ответственно до сегодняшнего утра, но с этого момента он больше не может безоговорочно доверять себе и должен не трижды, а четырежды проверять себя в каждом, даже самом малом шаге, от которого, увы, зависит очень и очень многое. Собственно, по строгому размышлению, он быть может корил себя излишне. Секретарь генерал-губернатора был вежлив и почтителен в разговоре, даже слишком, как-то уж очень сладко и вкрадчиво почтителен, но в глубине его слов слышался металл – собственно, руководству Университета не оставляли особого выбора, прося собрать профессоров для торжественной лекции этого, как его там… Мюллера, кажется… им откровенно приказывали. Но делали это так, чтобы не унизить и пробудить расположение другой стороны, что и стало, к слову, одним из моментов, которые заставили его как-то сразу поверить, внутренне откликнуться. Он мог, если бы был более вдумчив и чуток, отстранился и посмотрел на ситуацию критически и с нескольких сторон, «невосприня́ть» завуалированного ультимативного требования, что-то измыслить и хотя бы на день отодвинуть настойчиво навязываемую «лекцию», что-нибудь за подаренное таким образом время придумать и предпринять, оценив ситуацию глубже. А сейчас он уже этого не может. К чему это привело бы, вот в чем вопрос. Это означало бы уже совершенно хамский в отношении к властям демарш и побудило бы их к немедленным, решительным и негативным шагам. И если они на самом деле ищут подобным образом русло для контакта и сотрудничества с польской интеллигенцией, то это, собственно, всё разрушило бы и конечно нарушило хрупкий, чудесный баланс последних двух месяцев, позволяющий Университету сегодня более или менее нормально работать. Подобные соображения подспудно и побудили пана ректора проявить понимание и сговорчивость. Если же власти что-то замышляют, то это точно так же побудило бы их к ответу – еще более немедленному и радикальному. Так что, так и эдак, по здравому размышлению выходило, что пан ректор принял решение правильное. Но холодок и какой-то зуд сомнения внутри его не оставляли. Да – это означало бы пойти на откровенный конфликт с властями, что было бы дурно, если их намерения были всё же более-менее позитивны и конструктивны. Но если нет и за всем этим таится какая-то коварная каверза, то было бы время что-нибудь предпринять, пусть и незначительное, но время. Попросить кого-то скрыться на определенный срок, уехать, мало ли еще что. А теперь… Он в принципе и сейчас, как не покажется абсурдным и если только решится, может дать обратный ход и всё переиначить. Да мало ли под каким предлогом… хоть бы рабочим и пришлось раздробить трубу отопления в корпусе и залить несколько этажей и торжественных зал кипятком, всё одно лучше, чем отдать цвет нации и города во власть непонятных затей… Это будет означать скандал, который наверняка кончится очень плохо для всех и для него лично, но вопрос, стоит ли игра свеч, действительна ли опасность, или же она плод его разбудивших воображение, очень естественных в сложившейся ситуации опасений. Он не знал точного и правильного ответа на этот вопрос, впервые за необозримое количество лет не знал, что делать, словно совсем молодой и не хлебнувший жизни человек растерялся. Пока же – секретари деканов оповещали профессорский состав о намеченном вечером собрании в ауди-

тории номер 66 и почти все, насколько ему сообщали, подтверждали свое прибытие и восприняли новость вполне должным, естественным образом. От этого сорока восьмилетнему ректору, широко известному ученому, профессору и академику, становилось еще более не по себе и холодно внутри, потому что его всецелая ответственность за судьбу Университета и доверившихся ему коллег представала безжалостно очевидной и если не дай бог что-то произойдет – он не знает, сумеет ли посмотреть себе в глаза в зеркале.

К полудню пан ректор уже не мог более вынести жегших, терзавших его сомнений и колебаний, и попросил через секретаря зайти к нему старого Стернбаха, с упоением читавшего в это время лекцию по древнегреческому первому курсу филологов. Самый старший из них всех, мудрый и много переживший, еврей, наверняка не утративший древнее, глубокое чутье его предков о приближающихся несчастьях и опасностях, он пожалуй единственный, мнению кого пан ректор может сейчас по настоящему доверять. В годы далекой юности – собственный учитель, помогший ему состояться как ученому, прошедший с ним после по университетским коридорам десятки лет коллега, он ныне нужен пану ректору, лишь ему пан Лер-Сплавински, академик и филолог с мировым именем, ответственный за судьбу Университета и сотен людей, может доверить обуревающие его сомнения и страхи. Вот, Стернбах сидит перед ним, мудрый и глубокий, пристально и внимательно смотрит, слушает. Пану профессору уже сообщили о инициативе немецких властей сегодняшним вечером? Сообщили? Отлично! (Тадеуш Лер-Сплавински прекрасно знает, что сообщили, но специально заводит разговор именно таким образом, чтобы придать ему наибольшую спокойность, деловитую непринужденность). Однако, он желает лично и еще раз ее обрисовать Стернбаху – почетнейшему и старейшему из краковских ученых. И обрисовывает, внятно и искусно делает это так, чтобы с одной стороны показать, что речь идет о вполне здравой, логичной, официальной и могущей стать полезной инициативе, к которой надо отнестись со всей надлежащей серьезностью, как он и поступил, а с другой – с максимальной осторожностью очертить мучающие его сомнения. Последнее он делает очень просто, одной лишь сопровождаемой усмешкой фразой «и если откинуть все наши, обусловленные событиями опасения и не успевшее возникнуть доверие властям»… всего одной фразой. Однако – эта фраза делает свое дело моментально и до глубины. Леон Стернбах присобирается на стуле, чуть наклоняется вперед, смотрит на него острым, подобным выпущенной стреле взглядом, враз понимает всё, что он хочет намеком передать и что терзает его, и становится ясно, что нечто подобное думалось и в глубине души ощущалось и самим Стернбахом, а в словах ректора лишь обрело четкие контуры. До глубины понявшие друг друга, они вдруг молча и цепко смотрят друг на друга, все маски и барьеры рушатся, ректором паном Тадеушем внезапно овладевают бессилие, пустота и усталость, он садится на стул, тоскливо поднимает глаза на старого профессора Стернбаха и с каким-то стоном произносит – «Леон… мы давно и хорошо знаем друг друга… что Вы обо всем этом думаете?.. Ваше мнение мне важно, как никакое иное…»

В семидесятипятилетнем профессоре Стернбахе, увы, в этот момент берет верх быть может менее всего нужное – глубинное, ничем до конца дней неискоренимое, выработанное тысячелетними бедами его предков ощущение, что от судьбы не уйдешь и если та стучится в двери, если погромщики с мечами, саблями или просто косами ломятся в дверь, чтобы перерезать со страхом прячущихся за ней, то последнее мужество и достоинство заключено в том, чтобы судьбу спокойно и покорно принять, а не отчаянно и напрасно трепыхаться, как иногда кажется.

– Глубокоуважаемый, пан ректор! – мудро и мягко, чуть ли не по отечески ласково начинает Стернбах – у Вас нет причин терзать себя… Ни у кого не вызывает сомнений Ваша самоотверженная, беззаветная преданность делу, Ваше отцовское радение об Университете. Вы поступили правильно и разумно, как единственно могли поступить в сложившейся ситуации… И как на Вашем месте, дорогой мой, поступил бы каждый, поверьте – каждый, в том числе

и я сам… Стернбах делает паузу… Тадеуш! – вдруг обращается он без обиняков, сразу к делу и напрямик, сурово, серьезно, как врач, должный сообщить пациенту, что тот смертельно болен и слишком долго не протянет – в происходящих событиях может быть замыслено и случиться что угодно, Ваши опасения не кажутся мне беспочвенными и я не буду пытаться обнадежить Вас, напротив – хочу, чтобы Вы шли в предстоящее с открытыми глазами! Всё то, чего мы оба так ясно опасаемся, действительно и вполне вероятно может произойти. И всё же – Вы приняли правильное решение и поступаете правильно, я, как старейший и почетный профессор Университета, поддерживаю Вас всемерно и до конца разделяю с Вами ответственность. Тадеуш! Мы не подпольщики. Мы не солдаты. Мы не офицеры польского Генштаба, которого более нет. Мы – ученые. Мы достойно прожили и прошли наши жизни, сделав это другим, близким нам образом, и должны бороться другим образом! Вы совершенно верно увидели линию поведения в сложившихся обстоятельствах два месяца назад – мы должны бороться прежде всего нашей готовностью организовать нормальный учебный процесс, и мы до сих пор это и делали. Но еще более, и Вы тоже тогда верно поняли это и указали на это нам, сидящим в зале, мы должны бороться собственным примером, если необходимо – жертвенным, требующим от нас жертвы собой. Тадеуш, ну мы же не солдаты, в самом деле!.. Вы представляете меня или Игнаца, большинство из наших коллег прячущимися в сточных подземельях, ночующих каждую ночь в разном месте и если придется – под открытым небом, меняющими адреса, бегущими проселочными дорогами? Ну ведь это чепуха, согласитесь! От судьбы не уйдешь, Тадеуш, я ответственно и спокойно говорю Вам это! Если немцы замыслили что-то, пусть даже самое дурное, это так или иначе будет ими осуществлено, Вы и сами понимаете. Судьбу надо уметь принять с прямой спиной и открытым лицом – этим, именно этим воодушевив и подав пример! Этим, именно этим исполнив свой долг перед собой и другими, перед родной страной! Борьба может состоять не в бряцании оружием и не в подпольных акциях – жертва тоже может быть борьбой, уверяю Вас! Так что успокойтесь, приготовьтесь пройти предначертанное Вам и конечно, оставаясь человеком, по праву храните в сердце надежду на лучшее. Я приду вечером в аудиторию номер 66 и я уверен, что большинство коллег, возобладав над сомнениями, так же сохранят достоинство польских интеллигентов, исполнят свой долг и придут. А сейчас я оставляю Вас и как старший коллега и друг требую, ультимативно требую от Вас, сохранять спокойствие и выдержку.

Леон Стернбах действительно, не дожидаясь ответа и реакции Тадеуша Лер-Сплавински, встает, резко разворачивается и не слишком быстро, но твердо выходит из ректорского кабинета. В голос сообщает и в приемной ректора и после в коридоре о том, что лично он безо всяких колебаний и сомнений придет на вечернее, обещающее быть хорошим и забавным представление, послушать, что там хочет рассказать какой-то, неизвестно где и чему учившийся «колбасник», крестоносец и конечно варвар. Он делает это, зная в точности, что слова его дойдут до коллег и побудят их сделать то же самое, ободрят их. Должное совершиться – да совершится. От смерти ведь тоже никуда не уйдешь, ему ли в его семьдесят пять этого не знать. Весь вопрос в том, каким ты предстанешь перед лицом неотвратимого. Судьбу надо уметь принять – достойно, мужественно, спокойно. Долг – именно в этом.

Глава вторая

Пасть свиньи

Слова Стернбаха были выслушаны паном ректором, окончательно растерзали его и ничуть его не успокоили. Иллюзий теперь точно не было и не было права на них. Предчувствия стали тождественны реальности, опасения и страх разожгли воображение до предела и оно стало рисовать ректору жуткие картины, которые в его сознании от реальности, от реальной угрозы и того, что будет или может случиться, уже ничего не отделяло, только время, которые одно лишь время могло теперь развеять или же подтвердить. Оставалось лишь ждать приближения и совершения того, что было уже неотвратимо и казалось практически ясным, пытаясь лелеять надежду на благополучный исход и понимая, насколько эта надежда формальна, является чисто теоретической. И чем более приближалось время вечернего события, тем больше Тадеуш Лер-Сплавински утрачивал последние надежды на то, что произойдет нечто иное, нежели диктуют ему воображение и страх, а жуткие картины в его воображении, чуть ли не до желания кричать, были уже почти полностью тождественны для него реальности. Всё усиливало страх и подозрение, решительно всё. В одном Стернбах был прав точно – изменить уже ничего нельзя и остается лишь войти в предначертанное, почти наверняка зная и догадываясь о нем. И ректор приближался в течение дня к вечернему событию так, словно откровенно входил в уготовленную и хорошо сознаваемую западню, в которую, разражаясь неотвратимыми ругательствами, но всё равно идут, понимая, что выбора и выхода другого нет, будучи готовыми увидеть именно то, что предчувствовалось, и лишь произнести заранее сказанное в мыслях – ну вот, пожалуйста!..

– — —

Этот день, 6 ноября 1939 года, знаменовавший ровно два месяца оккупации Кракова немецкими войсками, начался для профессора Войцеха Житковски более или менее нормально, насколько это вообще было возможно в изменениях, быстро пронесшихся в его жизни за прошедшее время. Около трех недель назад он лишился квартиры и дома в предместье, где Магдалена стала ему близка. Закон об «аризации» вышел еще 12 сентября, но сразу по его оглашению многого не произошло и Войцех, как и многие, в тайне надеялся, что закон этот более останется формальной мерой, не дойдет до конкретных событий, реального отъема собственности, простого грабежа среди бела дня по национальному признаку. Он ошибался. В середине октября он лишился всего – трехкомнатной квартиры на Вольной Площади, дома с купленным незадолго перед этим в Варшаве роялем, в котором с первых шагов начинал мерещиться облик Магдалены, приобретенного в 1936 году, так же в честь получения профессорской степени «Мерседеса». Всё это, вместе с изумительной, уже собранной к тому времени библиотекой на трех языках и небольшой, но до слез дорогой ему подборкой полотен, а так же бесконечность застывших на вещах надежд, порывов, чувств и воспоминаний, пережитых лет и событий, досталось большой семье члена НСПГ, прибывшего в Краков для организации производства и поставок продовольствия в Рейх. Войцеху, застигнутому врасплох грохотом в дверь в восемь утра, в прямом смысле выставленному в три четверти часа на улицу, даже не вполне ясно понимающему еще, что происходит, было разрешено взять с собой лишь самые необходимые личные вещи. Он тогда, в несколько мгновений, позволил отнять у себя дом и всё, что у него было, бесконечность связанных с событиями его жизни и судьбы вещей – то, что многие годы служило привычной, само собой разумеющейся обстановкой его жизни и без чего, казалось, его жизнь, со всем ее устоявшимся образом и порядком дел, не может быть даже помыслена. Он дал этому совершиться в три четверти часа и у себя на глазах, находясь в состоянии то ли

полусна, то ли полуобморока, совершенно парализованный страхом, происходящим, раздавшимся ранним утром жутким грохотом прикладов в дверь. В один раз и как он чувствовал – очень надолго, он был «зашуган» произошедшим, задавлен и парализован в какой-либо способности сопротивляться насилию и вершимому с ним, причем даже в тех ситуациях, когда кажется берут за горло. Страх, который окатил его сверху до низу и полностью парализовал его в те короткие минуты, лишил его способности протестовать не то что движениями, а хотя бы возгласом или внятно произнесенным словом, и ныне, непроизвольно и моментально охватывал его целиком, делал его обмякшим и ватным при самом первом случае и маломальском ощущении какой-то опасности, и Войцеху казалось – никогда из него уже не уйдет. В один час он лишился, как античный философ Зенон-младший всего – дома, имущества, привычной обстановки, позволявшей вести налаженную и спокойную жизнь, книг, без которых была обречена застопориться его мысль и работа над собственными текстами, короче – остался, как говорит народная поговорка, «гол как сокол». Лишился всего – кроме любви. У него оставалось единственное, быть может самое дорогое и главное – Магдалена. Он поселился у нее, в двухкомнатной квартире, которую она снимала на ближних улицах Клепажа, на углу Бискуповой и Кроводерской. В одном этом конечно же было заключено счастье. Они стали окончательно сплавлены – не только душами и телами, а обычными повседневными делами, событиями, мыслями и заботами, просто ощущали друг друга частью самих себя, высшим наслаждением стало для него готовить лекции, сидя в углу за небольшим столом, с трудом умещавшим его могучее, грузное тело, и едва улавливать спиной и слухом, что она в другом конце комнаты чем-нибудь занята – пересматривает ноты для концерта, что-то шьет или с чем-то возится. Это дарило ощущение ни чем не выразимого счастья. И почти как древнему Зенону, потерявшему в отличие от Войцеха и любимую женщину, ему было глубоко безразлично то, что у него отобрали, казавшееся недавно таким значимым и неотделимым от его жизни…

Все эти испытания и события конечно надломили «неистового профессора». Он начал заметно и на глазах седеть, стал мягок и как-то скован, боязлив и нерешителен в поведении и обращении, похож на обиженного кем-то глубоко и несправедливо ребенка, у которого на лице застыло непонимание, за что с ним так поступили. Изменился и привычный образ жизни пана профессора. Не было больше ежеутренних проходов мимо собора Святой Катаржины и чашки кофе на Страдомской, потом двадцати минутного шествования по алее вдоль Вавеля и Архиепископской семинарии, за которое он успевал сосредоточиться и настроиться на чтение лекций, обдумать наиболее важное. Войцех жил теперь с почти противоположной стороны и гораздо ближе к Университету, и путь его более не пролегал по любимой алле. Однако, пауза осознания начавшегося дня ему всё равно была нужна и он приспособился – шел в Университет через Старый Клепажский рынок, стал почему-то любить наблюдать за просыпающимся и начинающим заниматься привычными делами простым людом, задерживаться на рынке, ходить между рядами с сушенными боровиками, колбасами и традиционным жаренным сыром, слушать разговоры, потом же, в самом конце любимой аллеи, но с другой стороны, всё-таки садиться на скамейку под голыми ясенями, смотреть на узор ветвей вверху, вдыхать морозный воздух и думать… иногда и не думать, а просто в покое застывать. Его спасала работа. Он снимал шляпу перед Лер-Сплавински уже просто за одно то, что во всем аду происходящего вокруг тот сохранил Университет и открыл учебный год – это было как маленький и слабый огарок свечи посреди бесконечного мрака и холода, торжествующего и воцарившегося…

Со всем этим изменилась и Магдалена. В настигших их и окружающий мир несчастьях, в пришедших в их, еще недавно налаженную и процветавшую жизнь испытаниях, они словно какую-то последнюю истину поняли и ощутили, насколько же им нужны теплота и дружба друг друга, что каждый из них для другого – спина, к которой можно прислониться, не задумываясь и закрыв глаза, без йоты сомнения, тот быть может последний человек, которому

можно безоговорочно и до конца доверять, совершенно точно желающий другому только добра. Они жили друг другом. Жить до конца не мыслями и идеями, не познанием чего-то, что как дилемма горит, стоит мучительно и остро, не рождающимися внутри и властно требующими увидеть свет, обрести законченные формы книгами, а другим человеком, его заботами, переживаниями и планами, было для Войцеха в новизну, но не менее значимо, дарило не меньшее нравственное и душевное наслаждение. Она, бывшая намного младшего его и всегда немного робевшая, благоговевшая перед его внутренней силой и напористостью, гневливостью и страстностью, за которыми крылась его человеческая настоящность, незыблемость для него в жизни и творчестве тех или иных позиций, внезапно, как обречена наверное любая женщина на земле, почувствовала себя в отношении к нему – потерявшему всё, обездомленному и если не сломленному, то по крайней мере растерявшемуся внутренне перед слепой, непонятной и неожиданной ненавистью мира, чем-то вроде матери. Она окружила его заботой, ей было важно каждое утро удостовериться, что он хорошо позавтракал, а вечером – как следует, а не небрежно поужинал после целого дня лекций. Она испытывала какое-то невыразимое наслаждение от возможности вечером, понаблюдав вдоволь из угла комнаты за ним, сидящим и еле вмещающимся за ее небольшим столом и пишущим лекции, тихонько встать, заварить ему необычайно крепкий чай, который он любил и только один и мог пить, незаметно подойдя поставить на стол и обняв, заглянуть в то, что он строчит. Сонм несчастий, испытаний и потрясений, зыбкость и враждебность жизни и мира вокруг, превратили для них ее небольшую, ставшую их совместной квартиру в маленькую вселенную, которую заполняли лишь тепло, любовь друг к другу и желание сделать другому что-то доброе, словно ласкать и целовать один другого самым простым повседневным действием. Облик Магдалены изменился, и изменилось ощущение и восприятие им Магдалены. Настали холода, топилось плохо, Магдалена стала носить в квартире тонкий шерстяной свитер, ее изумительная фигура и ноги были укрыты длинной шерстяной юбкой серого цвета, стопы – толстенными вязанными носками, а на голову она, желая привнести в свой облик момент чего-то смешного, надевала стильный колпак из войлока, какой носили простые женщины лет двести назад. Ее блестящая красота не померкла от этого, а стала еще более влекущей и могучей, какой-то «домашней», знаете ли, как если бы вдруг вышедшая из морской пены, слепящая красотой и ощущаемая гостьей иного мира богиня, стала чем-то бесконечно близким и доступным, превратилась в неотъемлемую, само собой разумеющуюся часть привычной жизни человека. Облик ее из-за всего этого обрел какую-то невероятную трогательность, вызывал в огромной груди и бычьем сердце Войцеха нежность, от которой тот иногда чуть не задыхался, желание сгрести ее на руках в охапку, обцеловывать ей волосы, кончик носа и пальцы на ногах, а после, как ребенка ее приласкав и убаюкав, отнести в постель и бережно прикрыть на сон одеялом. Окружающий мир рушился, исходил безумием и кровью, застыл в ожидании чего-то жуткого, изо дня в день надевал на лицо гримасу ненависти и грядущих, до конца никому не ведомых бед, они же, в маленькой квартире Магдалены в закоулках Клепажа, были в эти дни невыразимо, до сладости счастливы…

В этот день, однако, он шел в Университет на десятичасовую лекцию совсем иначе, гораздо более дальним путем. Захворала в наставших холодах пани Мария, мать Магдалены, семидесятилетняя потомственная краковянка, некогда – легендарная красавица, как и дочь. Магдалена была возле матери целую ночь, в родительской квартире на Гродской, он же, пройдя через рынок и купив разных деревенских трав, полезных для заваривания и питья при сильной простуде, и домашнюю курицу для наваристого, полного витаминов бульона, нес их туда и заодно хотел поцеловать пани Марию, ободрить ее. Спустившись на Гродскую, миновав громады словно держащих друг друга за руку соборов, он не выдержал и на какое-то время остановился у витрины антикварной лавки Ковальски. Антиквариат стал его страстью с тех времен, когда обретший статус и начавший неплохо зарабатывать, он приобрел апартаменты на Вольной Площади и дом в предместье, и почувствовал, что ему доступно сделать свой

мир, обстановку его привычной жизни красивыми, наполненными дорогими для него и радующими взгляд вещами. Он, сколько мог себе позволить, собирал хорошие полотна, старинные книги редких изданий и фарфор. Всё собранное уже чуть более трех недель перешло в чужие руки, осталось в ставшей собственностью других людей квартире. Книги на немецком открывал брюхастый, важный видом «наци», тьмой редких фарфоровых статуэток миловалась его жена, а с тарелок эпохи Людовика XVI наверное ели молочную кашу каждое утро его белокурые дети. Войцех старался не думать об этом, просто обрубил воспоминания и какую-то связь в них с этими вещами и исчезнувшей жизнью, ибо чувствовал, что теряет рассудок от рыданий и жгущего его сердце ощущения горя. Дело было не в самих вещах – за каждой из них стояло событие, проходившая в их приобретении и мимо них жизнь с ее муками, надеждами, чувствами и порывами, они в целом становились в воспоминаниях образами прочной, налаженной, процветавшей и глядевшей в будущее жизни, которая безвозвратно и безнадежно исчезла, рухнула мгновенно и на глазах, как в дурном сне, и одни лишь искры этих воспоминаний, невольно мелькающие в душе и сознании, были способны заставить разрыдаться внутренне и чуть ли не закричать. Но сегодня, очарованный не слишком пасмурным утром, внутренне как-то особенно ослабший и размякший, он не выдержал, набрался храбрости и застыл возле витрины Ковальски, различив на ней несколько интересных французских статуэток времен Второй Империи. Он почти полностью забылся, отключился от окружающего в рассматривании статуэток и других, выставленных за стеклом прелестных вещей, как внезапно услышал сзади, на том, вызывающем теперь моментальный приступ ненависти и страха языке, протяжно задумчивое, полное каких-то затаенных мыслей и словно окутавшее его – «Здравствуйте, досточтимый герр профессор, здравствуйте! Вот уж, знаете ли, не ожидал!»

Войцех поднял глаза на стекло и его пробрали мгновенный приступ ужаса и холод в животе, потому что он увидел у себя за спиной обращавшегося к нему солдата в немецкой форме. Войцех рывком обернулся, и когда темнота ужаса чуть развеялась в его глазах, не поверил тому, что в них увидел. Перед ним стоял Губерт Шлётц, хорошо знавшийся им пять с небольшим лет тому назад молодой доцент Берлинского университета, аспирант Хайдеггера. В начале 1934 года, пока пришедший к власти режим нацистов только набирал обороты и для иного носителя коричневой рубахи еще не было ничего из ряда вон выходящего, чтобы невзирая на моментально развернувшуюся антисемитскую пропаганду, распить с евреем – приятелем детства, коллегой или соседом, добрый бокал пива, и евреев в нацистских больницах еще не умертвляли, а самым достойным и ответственным образом лечили, связи европейской академической общественности с немецкими университетами были очень крепки и исследователи-евреи всё же рисковали ездить туда от имени своих «альма матер» на конференции и иные мероприятия. Вот и Войцех был исключительно рад возможности поехать на конференцию в Берлинский университет, где ректором еще был боготворимый им, яростно популяризируемый им Хайдеггер. С самим «мэтром», сухим и чуть вытянутым лицом человеком, тогда – лет около тридцати пяти, даже чуть младше самого Войцеха, более похожим не на гениального и трагического пророка мысли, разрушающего устои смутьяна, въедливого и дотошного скептика и великого знатока античности, а на офицера из аристократического рода, он почти не соприкасался, лишь в рамках официальной программы, но вот с одним из его наиболее серьезных и талантливых аспирантов Губертом Шлётцом сошелся тесно, воодушевленно и быстро. Общение их было в течение почти всех дней конференции глубоким и увлеченным, они сдружились, полная противоположность друг другу – огромный, похожий на старого польского пана еврей, и молодой тонкий немец-баварец с хорошей немецкой челюстью и бурной натурой – они почувствовали взаимное влечение и помимо искренних разговоров на важные для обоих темы, разделили между собой несколько раз и пиво, и хороший шнапс. Полтора года после этого они переписывались, потом связь замерла… Войцех не удивлялся, возможные причины этого были достаточно очевидны. Удивился он три года назад, когда получил

от Губерта Шлётца полное искреннего уважения и восхищения письмо с оценкой его только что вышедшей и переведенной на немецкий книги о музыке романтизма, после тот еще один раз списался с ним, поздравив его с получением профессорского звания. И всё – связь снова оборвалась. И вот сейчас, стоя посреди Гродской и слыша растянутое «здравствуйте, досточтимый герр профессор, здравствуйте!», Войцех видит в стекле немецкую форму, в невольном порыве ужаса оборачивается и остолбевает от неожиданности, обнаружив обращающегося к нему, облаченного в черную с белым отворотом шинель офицера СС доцента Губерта. Войцех почти сразу узнал его – тому было сейчас порядка лет тридцати двух или трех, он практически не изменился лицом, изменился лишь общим обликом – сохранив стройность, стал более плотным, как и положено офицеру подтянутым и словно скульптура выправленным в позе тела и движениях, необычайно спокойным и плавным в них. В первое мгновение, погрузившись в воспоминания пятилетней давности, Войцех во власти порыва вознамерился было рвануться к доценту Губерту и чуть ли не начал раскрывать объятия, но вдруг замер, осек себя и остановился. За последние два месяца Войцех четко усвоил, что он, похожий на молодого быка или польского пана былинных времен, «неистовый профессор» и автор известных книг – «юде», то есть собака, отродье, мразь, и не имеет права приближаться к немцу или немецкому офицеру, не смеет обратиться к немцу первым и должен почтительно поклониться, если какой-нибудь немец сочтет нужным обратиться к нему. Он уже привык к этому ощущению, усвоил то как важный жизненный и повседневный рефлекс и сейчас, в первом порыве бросившийся к старому приятелю, подчинившись такому рефлексу, осадил себя, вспомнил, что между ним и бывшим или же и доныне числящимся доцентом Берлинского университета Губертом Шлётцом, пролегает непреодолимая пропасть. Губерт увидел это, понял смысл душевных и телесных движений Войцеха, сам, спокойно глядя ему в лицо, шагнул навстречу к нему и сняв с руки черную кожаную перчатку не обнял его, но долго и крепко пожал ему руку, очевидно показывая, что делая то, что не должен, безоговорочно считает необходимым поступить именно так. Еще робеющий при виде «эсэсовской» формы и как влитой облаченного в нее человека, Войцех вместе с тем тронут искренним, крепким, лишенным всякого стеснения рукопожатием, немного расслабляется и с уже выработанной за два месяца почтительной вежливостью, но теплым и неподдельным интересом, осторожно засыпает Губерта Шлётца вопросами. Что? Как? Как он здесь, что привело его в Краков, чем он тут занимается? Как дела в Берлине? Как его философская и научная работа? Пишет ли что-нибудь? Со спокойным и вежливым уважением, и даже с некоторой обстоятельностью, Губерт Шлётц отвечает и со стороны внятно видно, что встреча и разговор приятны ему. С делами всё хорошо. Он уже почти два года – офицер СС (Войцех невольно сглатывает при этих словах, а Губерт произносит их по деловому, как нечто само собой разумеющееся), в Кракове находится с его подразделением по делам службы (эти слова произносятся так, что со всей вежливостью объясняют – какие-либо дальнейшие вопросы в подобном направлении невозможны). В Берлине и на Родине в Рейхе (пять лет назад он сказал бы «в Германии») дела идут превосходно, однако он из университета ушел… Знаете, герр профессор, продолжает он, нынешнее время востребует в человеке способность делать важное для всех дело, значимость созерцания отходит теперь на второй план (Губерт произносит это как некое «кредо», словно разъясняя принцип, определяющий сегодня его жизнь, и рассчитывая найти в собеседнике несомненное понимание, но в середине слов чуть отводит взгляд в сторону). Переводит разговор на профессора. Как он, чем он занимается, как происходит его жизнь после событий кампании (последний вопрос Губерт так же задает очень спокойно и по деловому, словно констатируя в словах фактическое положение вещей, которое должно надлежащим образом принимать)? Чуть смутившись, немного потупив взгляд и запинаясь, пытаясь с трудом скрыть в словах и голосе волнение, Войцех отвечает. Губерт слушает с вежливым, уважительным и заинтересованным вниманием. Дела более или менее, по обстоятельствам времени. Три недели назад, по закону об «аризации», у него отобрали квартиру

и дом (при этих словах, пустив на лицо легкое, но искреннее сочувствие, Губерт вместе с тем сохраняет прежнее выражение лица, что речь, мол, идет о само собой разумеющихся вещах и фактическом положении дел, которое надлежит принимать таким, каково оно есть, которое не должно фокусировать на себе их разговор. Жизнь и события таковы, поделать с этим ничего нельзя, всё это должно быть по умолчанию принято как данность – таков тон тех моментов их разговора, которые касаются самого актуального). Но он, Войцех старается не падать духом – Губерт вновь понимающе и сочувствующе кивает. Вот, сейчас он на минуту задержался по дороге в Университет, ведь невзирая на события, Университет работает в обычном порядке, студентам во всей полноте вычитываются лекции и он, Войцех, счастлив возможности работать, она помогает ему с достоинством проходить через испытания! Губерт вновь с пониманием кивает, однако именно при этих словах его взгляд внезапно и на несколько мгновений становится пронзительным, острым, напряженным. Вообще, во время разговора Войцеха не покидает ощущение, что несмотря на искреннюю доброжелательность и заинтересованность в отношении к нему, на действительно благородное в ситуации решение почти с прежней дружественностью с ним заговорить, Губерт смотрит иногда как-то «поверх» него и ведет себя так, словно знает что-то больше него самого о его о жизни и делах, что пропасть между ними конечно существует и просто чем-то «накрыта» на некоторое время, и в особенности сильным это ощущение становится в тот момент, когда обмен новостями и разговор переходят на Ягеллонский университет. Собственно, именно после слов об Университете разговор, сохраняя вежливость и доброжелательность, вместе с тем начинает сходить «на нет» и через пару минут, произнеся «Что же, простите герр профессор, служба! Думаю, мы еще увидимся с Вами!», Губерт прощается с ним, так же сильно, четкими твердыми движениями и долго жмет ему руку и уходит вниз по направлению к Страдомской. Войцех прощается так же искренне, с даже превышающим приличия при сложившихся обстоятельствах порывом, и двинувшись к Рыночной площади, несколько раз, с застывшей на губах и почти детской улыбкой, оборачивается и смотрит в спину удаляющемуся вниз по Гродской офицеру СС, бывшему доценту Берлинского университета и аспиранту Хайдеггера Губерту Шлётцу. Этот человек – часть бывшей, полной надежд и свершений, безвозвратно рухнувшей жизни Войцеха, их встреча была неожиданной и невзирая на все изменения и обстоятельства радостной, и ему трудно сразу же расстаться взглядом с некогда более чем приятным и интересным ему человеком. В течение дня он еще несколько раз будет возвращаться в мыслях к их неожиданной встрече, вспоминать с детской улыбкой что-то теплое, прятать приходящее в уголки глаз вместе с воспоминаниями выражение тоски и горя…

…Если бы пан профессор Войцех Житковски обернулся вслед давнему приятелю чуть большее количество раз, он увидел бы, что бывший доцент Берлинского университета, а ныне гауптштурмфюрер СС Губерт Шлётц, пройдя некоторое расстояние вниз по Гродской, вдруг обернулся, нашел глазами уже значительно отдалившегося от места их встречи профессора Житковски и долгим, цепким, пронзительным взглядом проводил спину профессора до тех пор, пока та окончательно не затерялась в контурах улицы. Одно профессор Житковски, по причине расстояния, уже точно не смог бы уловить – вдруг взметнувшиеся в душе гауптштурмфюрера и застывшие в его взгляде борения и встревоженность…

– — —

…Весть о том, что вечером, после обычных лекций, представитель немецких властей, будет читать профессорам Ягеллонского университета лекцию о планах фюрера Великой Германии Адольфа Гитлера касательно перспектив польского образования и науки, для чего те должны собраться в шесть часов в аудитории 66 Коллегиум Новум, застала Войцеха как раз тогда, когда сам он читал студентам третьего курса лекцию о взглядах малоизвестного еще даже в начале 20-го века датского философа Сьеррена Кьеркегора, впоследствие, наряду с Достоевским, названного одним из великих людей 19-го века и изменившего весь ход развития фило-

софской мысли после себя. Это известие почему-то совершенно не поразило и не затронуло Войцеха – своей абсурдной логикой оно вполне укладывалось в канву всех последних событий и обстоятельств. Страха, тревоги и сомнений так же не возникло, напротив – Войцех даже мысленно почувствовал некоторое облегчение. Университет работал в обычном режиме уже больше месяца, не согласовав открытие учебного года с новыми властями, внятного официального контакта с властями так же до сегодняшнего дня не состоялось, и тревогу и напряжение вызывало именно это. Так что известие о том, что такой контакт наконец-то должен сегодня вечером торжественно произойти, вызывало где-то даже радостное чувство и формат этого, вполне соответствующий духу времени, казался совершенно «логичным» и уместным. Войцех был рад еще одному обстоятельству – лекция гитлеровского «колбасника» назначена на шесть, а его лекции кончаются в четыре, Магдалена же сегодня давала небольшой концерт из произведений немецких романтиков и значит – он не станет проделывать напрасный путь домой и обратно, дойдет наконец-то спокойно до сердца любимой аллеи и хоть час или полтора посидит под любимыми ясенями, с удовольствием ловя вдалеке и наступающих сумерках громаду Вавеля, останется наедине с аллей будто с самой своей, прошедшей по ней изо дня в день жизнью… Так и случилось. Просидев на алле полтора часа, думая о происходящем, а после перестав думать, закрыв глаза и блаженно дыша морозным воздухом, просто забывшись и растворившись в мгновении, Войцех вспомнил о времени и о том, что должно произойти, вышел из оцепенения, обнаружив окончательно наставший вокруг себя темный вечер, встал и чуть быстро пошел в сторону Университета, дойдя к тому приблизительно без десяти шесть. Он подошел к парадному, со стороны аллеи входу, не испытывая тени каких-либо сомнений и ничего дурного не думая и не чувствуя. Здание и двор выглядели пустыми, но это было естественно для шести часов вечера и к тому же, как понимал Войцех, большая часть из коллег уже наверняка наверху, расселась в аудитории, так что ничего странного, сходу ощутил он, в подобном нет. Уже почти всходя по небольшим ступенькам на крыльцо, он вдруг заметил выступившего из тени и двинувшегося к нему человека, вгляделся в того и с изумлением узнал Губерта Шлётца. Однако, выглядел Шлётц совсем иначе, нежели утром – непонятно почему был одет в штатскую одежду, лицо его было маской холодной, сосредоточенной и напряженной решительности и сосредоточенное же, предельной степени напряжение читалось в его утративших утреннюю плавность, но совершенных четкостью движениях, взгляд его был словно средневековый кинжал пронзительным и вообще – всем своим обликом он был чужд и вызывал чувство опасности и страха. И поверх самой неожиданности их встречи, в особенности потрясало и вызывало волну немедленного страха отличие облика и поведения Шлётца от той чуть ли не благородной дружеской доброжелательности, напомнившей ему былые годы, с которой они общались с утра. И вот, только уже почти войдя в здание и вновь, так неожиданно, вплоть до ошарашенности увидев Губерта Шлётца, Войцех вдруг испытал всё обрушивший в животе, полностью заливший живот холод страха – он внезапно понял, что событие, должное произойти через несколько минут, на самом деле может быть чем-то очень опасным и совсем иным, нежели предполагалось. Угрожающее «неведомое», и без того постоянно подстерегающее в последние два месяца в зыбкости всего окружающего, внезапно разверзлось перед ним и вызвало страх, захватывающее его чувство паники. Он только было открыл рот, чтобы обратиться к Шлётцу, как тот опередил его.

– Герр профессор, что Вы тут делаете?? О черт!.. Немедленно уходите отсюда, немедленно!! Слышите?!

Тон Шлётца был резким, не терпящим возражений и приказывающим, от утренней дружеской доброжелательности в нем не осталось и тени и как и весь облик Шлётца, он вызывал страх и еще сильнее разжигал панику.

– Губерт, я собственно, здесь… А что происходит, почему Вы..?

– Оставьте немедленно это место, слышите, уходите – продолжает грубо Щлётц, уже вплотную подскочивший к нему – Да уходите же, черт побери, убирайтесь, немедленно уходите, о дерьмо! – кричит он, видя приближающиеся ко въезду в университетский двор огни машинных фар, и в плечи выталкивает Войцеха в окружающую крыльцо темень – вон, быстрее вон отсюда, убирайтесь!

Войцех слышит шум, оборачивает голову и видит въезжающие в университетский двор две грузовые машины и следующий впереди них «опель», один из тех, на которых разъезжают по Кракову немецкие офицеры. Он более не может думать, его рот раскрывается от ужаса, но не издает крика, потому что горло и дыхание сдавлены. Тьма и ужас, с молодости накрывавшие его при мысли о том, что его рано или поздно не будет, вдруг вновь целиком охватывают его и становятся реальностью ощущения, что не будет его не когда-то еще «потом», а прямо сейчас, через несколько мгновений, что время перестать быть пришло. Что сейчас вот то жуткое, разверзавшееся с ранних лет в мыслях «не будет», наконец-то настанет, станет реальностью, потому что всё – назначенное время пришло. Ему вдруг представилась виденная им однажды в детстве пасть огромной свиньи. Лет в семь он, еще мальчик Нахум, сын великого раввина, сбежал с занятий в «хэдэре» в город и забрел случайно на набережную возле Вавеля, где в это время гостил переездной цирк-«шапито». Он пошел не к самому входу в цирковой шатер – на это он, хорошо воспитанный отцом-раввином мальчик, осмелиться конечно не мог – а вдоль ограды, за которой стояли вагончики артистов и были размещены вольеры с животными. Зачарованный, со смесью испуга, отвращения и веселого интереса глядел он, как по одному из вольеров, тяжело стуча и хрюкая, бегает огромная, заросшая густой темной шерстью свинья, шевелящая мокрым белым пятачком, с огромной же и словно застывшей в глумливой ухмылке пастью. Войцеху было страшно, потому что свинья была существом, олицетворявшим для его отца и всех окружающих его взрослых людей что-то самое страшное и ненавистное, противоположное жизни. Вправду, существо это было в его внешности и поведении очень неприятное, как выяснилось в ближайшем рассмотрении, и потому маленький Войцех глядел на него с испугом и отвращением, но оторваться, словно загипнотизированный, не мог, так было до безумия и захватывающе интересно. Вдруг – в вольер к свинье зашел служащий с ведром, из которого вышвырнул в угол, на смесь песка и опилок, что-то темное, бесформенное и вонючее. Лишь завидев это, свинья затопала по опилкам, быстро рванулась к темной груде «чего-то» и жадно, широко раскрывая зубастую и как выяснилось действительно огромную пасть, стала то темное и вонючее жрать. Еще посмотрев пару мгновений, он вдруг страшно закричал, заплакал и бросился пулей бежать от сетки ограды, так явственно ему представилось, что вместе с чем-то отвратительным и непонятным свинья набрасывается огромной пастью на него самого. И еще долго потом он переживал этот испуг и сворачивался от ужаса при вставшей у него в глазах и воспоминаниях огромной, с частыми желтыми зубами свиной пасти. И вот сейчас, 6 ноября 1939 года, сорокалетний мужчина, пришедший на официальное мероприятие профессор философии, он стоит в вечерней темноте, видит заезжающие во двор Университета и окутанные светом фар машины, и всё его существо охвачено и увлечено куда-то ужасом от сознания и ощущения, что сейчас он перестанет быть, только небытие и смерть глядят на него в этот раз не бездонностью и бесконечностью мглы, а пастью огромной свиньи, всплывшей неведомо откуда, из каких-то давно забытых воспоминаний и картин детства, и так же, как тогда, он готов по детски закричать от ужаса, но не может, потому что ему сдавило горло и дыхание. Он теряет рассудок, перестает помнить и осознавать, что делает. Бросается стремглав грузным телом в густую темноту университетского двора, перелетает через него, проносится сквозь задний двор к хозяйственным постройкам, как-то умудряется, в кровь сбивая и царапая и руки, и ноги, взобраться на них, чудом не сломав ноги спрыгивает с крыши и хромая, тяжело дыша и вскрикивая от бега, исчезает во мгле переулка…

– — —

Время вышло, часы указывали без четверти шесть и должно было идти в аудиторию номер 66[i]. И ректор Ягеллонского Университета Тадеуш Лер-Сплавински, точно так же, как два с небольшим месяца назад, вышел из своего кабинета на втором этаже и двинулся по коридору, в том же самом направлении и подобным же образом сдерживая шаг. По понятным причинам. Шел пан ректор в этот раз, однако, совершенно один. Стремясь сохранить наиболее спокойную, рабочую атмосферу, он отослал секретаря и ближайших коллег к аудитории 66 полчаса перед этим, изъявив желание побыть одному и полистать бумаги, поэтому привычной свиты рядом с ним не было. Однако – именно это было ему более всего сейчас нужно и обычная пустота вечернего коридора отзвучивала не только его шагами, а тем, что переполняло его. Сонм клокотавших в нем мыслей и чувств, от сомнений в правильности принятого им решения и сути того, что вот-вот должно случиться до тревог, страха, терзаний и невольных попыток оппонировать всему этому оптимизмом и сотню раз перебранными за день трезвыми доводами, не могли успокоить даже нарочито медленные шаги, которыми он, в его неотвратимом движении к назначенному событию (что-то в душе бесновалось и орало «к судьбе!»), пытался сохранить достоинство и выдержку – подобающие если не ситуации, то точно его возрасту и статусу. Целый день тревожившее и разрывавшее его душу, должно было через несколько минут произойти, но это ни чуть не разрешало клубок сомнений и мук, не дарило даже последнего покоя обреченности и бессилия перед неизбежным, а наоборот – стало каким-то предельным напряжением и накалом переживаний, превратило его в натянутую и способную в любой момент порваться струну. Судьба и вправду, какова бы ни была и что не несла бы с собой, через считанные мгновения должна была явить себя и вступить в права, взять ей положенное, но обычно приходящего с этим фактом покоя пан ректор не ощущал. Вопрос «что же он всё-таки сделал», судьба Университета и коллег, вверенная в его руки и зависящая от его решений и поступков, отданная им самим во власть немцев и их непонятных затей, сомнения и попытки задушить и приструнить те, в эти мгновения зашлись в его душе и мыслях в пляске и успокоить его не могло даже произносимое мысленно – «ты уважаемый человек и ректор, на тебя смотрят с доверием и ты должен сохранить выдержку и твердость хотя бы просто для того, чтобы вселить уверенность в сердца остальных, перед которыми отвечаешь!» В самый первый день страшных событий, в те часы, когда всё и на глазах рушилось, а бездна неведомых испытаний и бед разверзалась не просто во всеобщей жизни, а словно бы под конкретно его, шедшего в торжественную залу шагами, в его душе и уме царствовала дилемма, в ее сути и решении ясная. Человек слаб, ничтожен, подвержен власти случая и множества не зависящих от его воли обстоятельств, но он же достоен и велик, ибо может до последнего с судьбой и обстоятельствами бороться. Тогда это стало словно беспрекословным и емким ответом на все мучавшие его чувства и вопросы, внезапным пониманием ответственности и миссии, которая в складывающихся обстоятельствах на него ложится. Да и вообще – было целиком созвучно его человеческой сути и натуре, всей его жизни, как она состоялась до того дня. И последующие два месяца истина бороться до последнего определяла те его решения, от которых зависела судьба Университета и коллег, и в которых он, не имея права по давним академическим традициям принимать их самостоятельно, пытался наиболее важных из коллег убедить. В вопросе о работе Университета и открытии учебного года, ждать милости и решения оккупационных властей было нечего: захотят немцы запретить – так и поступят, а совершить в последние дни войны и полного краха, в преддверии капитуляции этот демарш, значило показать, что у поляков есть воля бороться и отстаивать их достоинства и права, если не у военных и чиновников правительства, то точно у интеллигентов, верных долгу и любви к собственной стране. И возможно – именно этим убедить новых господ и заставить их посчитаться, принять это и поостеречься от возможно бродящих в их головах намерений. Никто не мог знать в те дни, что будет и как

продолжится уже безнадежно и надолго поменявшаяся жизнь, какой она будет под победно и твердо пришедшим немецким сапогом. И открыть год, совершить откровенный и вольнолюбивый демарш, означало с его точки зрения показать волю к борьбе и сколько вообще дано – быть может вправду убедить немцев хоть немного считаться с привычным укладом польской жизни, с главными правами раздавленных, униженных крахом страны и армии поляков. Ведь запретить так и не начавшуюся в страхе и покорности работу Университета гораздо проще, чем оборвать пошедший полным ходом, тысячами голосов гудящий в университетских коридорах учебный год. Так он чувствовал и думал, полностью сумев убедить коллег. И конечно был прав. Однако с сегодняшнего утра, в свете возникших обстоятельств и в особенности – после разговора со Стернбахом, в его уме и душе с безжалостной ясностью стоит и словно рана обнажена другая дилемма: истина борьбы до последнего и значит тревог, недоверия надеждам и пристального внимания к опасениям, резких и трагичных решений, либо же от судьбы, какова она, вправду не уйдешь и надо уметь спокойно, с достоинством предначертанное и неотвратимое принять. Как он сам сейчас, стараясь сохранять выдержку и достоинство, обреченно и безо всякой возможности повернуть назад, что-нибудь переиначить и сказать «нет», движется к тому, что должно произойти. И эта дилемма столь же в его уме и душе ясна, сколь разрывает и мучит его, ибо с ней связана правильность или же трагическая, быть может преступная и непредсказуемая по последствиям ошибочность принятого им решения, его поступков сегодня. Прав он или нет, принял верное решение или же страшно ошибся, трезво оценил ситуацию либо в страхе, утлых иллюзиях и надеждах позволил себе ослепнуть, не сумел в нужный момент посмотреть в глаза правде, связано с ней прямо. А еще потому, что старый Стернбах, его седой учитель-еврей, гениальный и великий ученый, сделавший для Университета и польской науки неизмеримое, показался ему в какой-то момент целиком правым и истина борьбы до последнего, диктуемое ею решение внезапно вставшей с утра проблемы, перестали быть для него однозначными. Ведь действительно бывает, что от судьбы не уйдешь и не обороть ее, как не старайся, и значит – достоинство требует спокойно принять судьбу, мужественно и спокойно идти навстречу предначертанному, покрытому мраком неизвестности или же безжалостно очевидному, а не пытаться отчаянно и чуть ли не до смеху напрасно вступать в драку. Бороться и надеяться до последнего – осознанно или нет, но это было истиной всей его сорока восьми летней жизни. Однако, в разговоре со Стернбахом он ощутил две вещи: «надежда на лучшее» может быть лживой и гибельно слепить, правдой же внезапно окажется самое страшное и невообразимое, словно рисуемое болезненной фантазией, а кроме того – какой бы ни была судьба, возможно только принять ее, ибо попросту не остается иного выхода. И надежда до последнего может спасти, сохранив для этого силы, но бывает – в трусости и малодушии делает слепым, скрывает опасность и нависшую угрозу краха, обязанность яростно бороться и спастись именно так. И поди знай, когда правильно одно или другое. И через ситуацию, которая так неожиданно встала сегодняшним утром, а спустя несколько минут как-нибудь точно разрешится, эта дилемма и потерянность в ответе на нее пролегла мучительно. Запаникуй и поступи так, как диктуют последние страхи и опасения – быть может только всё погубишь, нанесешь делу и коллегам вред. Считаешь, что трезво оцениваешь события, а на самом деле – может быть слеп и только трусливо лжешь себе, уводя глаза от опасности, от обязанности плюнуть на всё и принимать наиболее тяжелые и рискованные решения. А может и самое страшное – Стернбах прав и так или эдак, но от судьбы не уйдешь и просто прими отпущенное испытание, иди в него и будь готов в нем пропасть, но лелей надежду на лучшее и пытайся выстоять. Целый день он терзал себя этим вопросом, да так, что стал мысленно разговаривать с собой чуть ли не любимыми словацкими поговорками. Так решишь – может быть подвергнешь коллег опасности. Эдак решишь – может просто поддашься власти страха и паники и к еще худшему приведешь. А пойдешь прямо в назначенное судьбой – возможно всё погубишь или поди знай, что вообще в конце выйдет. Ответственность за судьбу Университета и коллег, в мирных обстоятельствах

казавшаяся ему полем для волнующих, вдохновенных и важных начинаний, которые будоражат мечты и пробуждают море сил и энергии, в обстоятельствах краха и абсурдного карнавала событий стала тяжким и мучительным бременем, не менее мучительной неизвестностью в простых, но одновременно жизненно важных вопросах. И ведь правда такая судьба и от нее кажется не сбежишь, обманом и хитростью, как у героев народных эпосов, не скроешься! Ведь что же – откровенно и по последнему счету лезть с немцами на рожон, когда вокруг только их власть и воля, их прихоти и законы? Заставить старых и всемирно известных профессоров, словно ушедших в подполье и куда-то враз пропавших маршалов и генералов бежать, скрываться, жить по разным адресам? Да куда они все, с их возрастом и послужным списком, годами в университетских коридорах, лоском и размеренным благообразием в привычках могут деться!.. У вояк и чиновников не даром принято в лучшие времена смотреть на них, интеллигентов, как гордость и требующие ухода, прекрасные цветки в оранжерее, а в худшие считать их обузой и слабаками, с которыми что хочешь делай. За промелькнувший в душевных муках и борениях день, он не раз говорил это себе с горечью… Это правда, хоть часто не берут в расчет силу и опасность знания, вдохновенно и глубоко произнесенного слова, которую они несут, нередко способную на многое. А когда всё же берут, у «очкатых слабаков» появляется цена или же их начинают попросту уничтожать – в зависимости, до кого наконец-то дошло… И значит – принять судьбу и идти в предначертанное, не дерзнув дергаться и «трепыхаться», пусть даже что-то в душе и уме кричит, чуть ли не воплем орет о грядущей опасности?.. Ведь от судьбы не уйдешь, какой бы она не была… Он так в конечном итоге и поступил, хотел или нет, своим решением обрек на это сотни выдающихся коллег, которым – втайне и подобно ему встревоженным, либо же воспринимающим происходящее самым должным образом, он буквально через несколько мгновений взглянет в глаза. И сделал так, уже наверняка зная после разговора со Стернбахом, что его опасения и страхи вполне возможно верны и судьба, в жернова которой бросал себя и их, непредсказуема и скорее всего окажется наихудшей. Ответа на эти дилеммы и сомнения он не нашел в течении дня, а сейчас они обнажены в нем по истине кроваво… Однако – ни позволить им и далее терзать душу, ни сдерживать шаги больше нет смысла. Гулкий и плохо освещенный университетский коридор, множащий в готических сводах шаги пана ректора, почти пройден – в одиночестве, лицом к лицу с собой, сомнениями и страхом, изъевшим его за день чувством ответственности… Сколько есть духу, он призывает себя мысленно к выдержке и чувствует, что на сей раз это почему-то возымело силу, придает лицу выражение спокойствия и уверенности, и сделав шаг твердым и быстрым, устремляется вперед… Коллеги во множестве толпились в вестибюле, пришли действительно почти все – «весь цвет», как он еще раз, чуть ли не со слезами и ужасом сказал себе в мыслях, он не мог разглядеть лишь нескольких из упомненных им и хорошо знакомых ему молодых докторов. Еще почему-то нет Житковски. Здоровается сдержанно и напряженно с теми и другими, в голос просит их войти в зал, никого из немцев пока нет. Это не нравится ему, как и всё остальное, он уже почти не сомневается, что произойдет нечто ужасное, хотя тоже самое он произносил мысленно четыре часа назад и даже раньше. Низок человек, настоящий скот. И надежда до последнего – вот, что в нем самое низкое и грязным скотом его делает. Теперь он кажется считает истиной именно это. Немцев всё нет. Но ничего, эти уж точно заявятся, своего не упустят, будьте уверены и покойны – дождетесь. Доценты и профессура заходят в зал, приглушенно гудят разговоры. Хшановски, Стернбах, он и еще несколько больших профессоров рассаживаются в первом ряду, друг рядом с другом, так спокойнее. И вдруг раздается нарастающий издалека, страшный гул, который моментально заставляет большую аудиторию с почти двумя сотнями людей притихнуть и застыть. Гул этот рокочет вдали, где-то на парадной лестнице, быстро приближается, звучит уже содрогая готические своды, заставляя трястись стены и грозя поднять старинные деревянные полы перекрытий. Это уже не гул, а грохот, содрогающие и оглушающие удары. Это две роты СС из айнзацкоманды оберштурмбаннфюрера СС

Бруно Мюллера, идущего рядом и вдоль их движения, с перевешенными через грудь автоматами, чеканят шаг и безжалостно бьют квадратными носками сапог старинный деревянный пол университетского коридора, под предводительством своего командира идут делать дело, важное и историческое, обреченное стать героической, славной легендой дело, и им плевать на толщину перекрытий, те не рухнут, выдержат – солдаты, как и командир, уверены в этом. Ибо то, что должно и предназначено совершиться, обязательно совершится, а они – лишь шаг и голос неотвратимого. Шум и грохот обнимает кажется уже всё здание, заставляет его трястись, собравшиеся в аудитории, молодые и старые, уже ничего не скрывают от себя и ни в чем не сомневаются, не сдерживают ни шок, ни вскрики прорвавшихся предчувствий, ни властвующую над ними панику, а некоторые привстают с их мест. Тадеуш Лер-Сплавински не вскакивает – он сидит, словно приросший к креслу, расширив глаза и уткнув их в пол, не в силах пошевелиться, ибо он понимает – идет Судьба и так звучат ее шаги. Шесть дверей в аудиторию распахиваются и пану ректору, сорока восьмилетнему академику и профессору, становится понятно, как выглядит Судьба, он смотрит ей в лицо. В зал, чеканным и грохочущим шагом, входит какая-то бесчисленная тьма солдат в черной форме и касках, с автоматами на груди. Они становятся в оцепление вдоль стен, а последним, тем же мощным, стремительным и бьющим об пол, чеканным и грохочущим шагом, в зал влетает высокий человек в такой же, как у солдат форме, но в черной фуражке и со множеством нацистских значков на груди, который, грозя перебить сапогами доски, поднимается прямо на сцену, чтобы сделать дело – то, что он умеет и привык делать. Чуть ли не треть зала вскочила в живом движении паники и ужаса с мест, и стоящие, и остающиеся в креслах, перегибают тела и вытягивают головы – в направлении сцены…

Пять минут назад оберштурмбаннфюреру Бруно Мюллеру сообщили в «опель», что польские профессора собрались там, где было им назначено. Оберштубманнфюрер спокойно курил и ждал, не волновался ничуть. Напротив – он уже, без малейшей йоты сомнений и колебаний торжествовал и праздновал успех, был уверен, что всё пройдет удачно и в точности так, как он наметил, собственно – считай произошло. Поэтому он, ничуть не засуетившись и не поменявшись в лице, спокойно и в том же ритме движений докурил хорошую американскую сигарету, спокойно же сел в машину, спокойно и даже не напряженно махнул рукой двум стоявшим за ней грузовикам с солдатами его айнзацкоманды, притаившимся в переулках Нового Света, недалеко от Университета и напротив окаймляющей Университет аллеи. «Опель» и грузовые машины въехали в парадный двор-парк перед главным входом, солдаты начали делать то, что должны и привыкли – выпрыгивать из машин и молниеносно становиться в порядок боевого марша, по три в ряд и создавая колонну. Вверху, в душной зале, собрались и должны быть арестованы почти двести человек, но оберштурмбаннфюрер не командует солдатам «бегом марш!», торопясь успешно сделать дело – он итак уверен в успехе. Они там наверху никуда не денутся и уже ничего не смогут сделать, даже если захотели бы. Они сами пришли в западню, наверняка догадываясь, что их может ждать, и так же послушно дадут в нужный момент сработавшей пружине судьбы пришибить их, сделать то, что она должна. К нему подлетает и молча замирает в «зиге» его одетый в штатское, контролировавший ситуацию в здании заместитель, Губерт Шлётц. Он командует двинуться шагом и таким же спокойным, могучим, грохочущим в гулком пространстве здания шагом, сопровождаемый заместителем, идет рядом с солдатами – по парадной лестнице с громадными дворцовыми пролетами и дальше, по готическому коридору, к аудитории номер 66. Он идет делать дело, которое он любит и умеет делать, и им владеет кураж. Это его дело, грамотно продуманное и обреченное на успех, и он чувствует себя так же, как солист в голосе, уверенный, что возьмет верхнюю ноту и сразит публику наповал, заставит ее сойти с ума и надорваться в аплодисментах и криках «браво!» Пусть собака Беккер вообще не скажет в рапортах о его участии в деле – он

счастлив и удовлетворен самим делом, этим великим моментом, ему ничего больше не надо. И потому он не бежит, а решительно и с наслаждением идет, предвкушая предстоящие короткие мгновения, влетает мощным и грохочущим по гнилому деревянному полу шагом в зал, и мимо выстроившихся рядами вдоль стен солдат проходит на сцену. Окатывает привскочивший над креслами, превратившийся в одно, как кулак напряженное ожидание зал, и с удовлетворением, наслаждением впитывает исходящие от замерших людей волны ужаса, страха и паники. Его взгляд полон самого откровенного презрения, он торжествует над этой гнилью, над этими наглыми полячишками, вечными, но ничтожными врагами Рейха, которые возомнили, что значат что-нибудь под солнцем и получили по зубам так, что не позавидуешь, а сейчас, от него и его людей получат еще больше. Ведь застигнутые врасплох и оказавшиеся сейчас лицом к лицу перед Судьбой, наверняка владевшими многими из них предчувствиями, они даже не подозревают, что ждет их недавно мнившую себя великой, но навсегда уничтоженную, позорно растоптанную страну, что слова, которые через пару мгновений, он словно приговор обрушит на них, касаются вовсе не только их жалкой участи. Он не собирается надевать никакие маски или соблюдать приличия и тона, он сейчас прямо, в нескольких коротких словах объявит этим людям их судьбу и совершит ее, но он не торопится. Он – судьба, он в особенности их судьба, и это надо понять и прочувствовать, такой великий момент надо просмаковать. Он и не хочет начинать быстро, а желает насладиться страхом и паникой этих червяков в очках, сковавшим их сознанием того, что они глядят в лицо собственной судьбе, и потому – смотрит нагло и прямо на них, долго смотрит… Вы только взгляните – «мудрецы», гордость нации, наверняка евреев среди них полно… Трусливое и нерешительное отродье – как просто, будто детским матом в шахматы он обвел их вокруг пальца, заставил зайти в уготованную и наверняка предчувствованную большинством из них западню. Он испытывает к ним ненависть и презрение, они отвратительны ему – в первую очередь тем, что позволили так бесхитростно сцапать себя, в этот момент он ощущает их ничтожествами. Его речь начинает литься в зал – громкая, резкая, отдающая приказы и словно вершащая судьбу речь, речь хозяев, тех, кто умеет делать дело, чья воля неукротима и несломима, кто поэтому имеет право властвовать и подчинять. Он уверен, что большинство людей в зале знают его язык и поймут каждое произнесенное им слово. Остальные – догадаются, он уверен и в этом.

– Профессора и сотрудники краковского университета, слушайте внимательно! Мое имя Бруно Мюллер, я оберштурмбаннфюрер СС, офицер Великого Германского Рейха! Я здесь для того, чтобы объявить вам – вы виновны в дерзком неподчинении немецким властям, разочаровавшим власти и самого Фюрера, милостиво и благородно, как истинный рыцарь, желавшего наладить с интеллигенцией и университетами покоренной Польши сотрудничество. Вы и руководство Университета проявили дерзость, неповиновение и неуважение к Фюреру и Великой Германии – без какого-либо согласования с властями генерал-губернаторства открыли учебный год. Вы совершили преступный и наглый поступок, будете наказаны и расплатитесь за него, как должно. С этого момента, власти генерал-губернаторства и я, Бруно Мюллер, представляющий их здесь, объявляем Краковский университет закрытым, лишенным права осуществлять какую-либо образовательную деятельность, всякая попытка продолжить работу Университета будет сочтена тяжелым проступком и безжалостно, сурово наказана. Ягеллонского университета в Кракове более нет. Более того – одновременно с этим властями генерал-губернаторства воспрещается деятельность всех польских университетов и академических заведений, наказание за неуважение к властям Рейха должно быть жестоким и справедливым.

Оберштурмбаннфюрер ощущает, что каждым произносимым словом будто бы уничтожает, убивает этих людей, вершит их судьбу, и это на самом деле так. Презрение и ненависть – вот всё, что он к ним испытывает в этот момент. Он продолжает, добивая всецело находящихся в его власти жертв.

– Вы, все здесь присутствующие, почти без исключения, объявляетесь мною с этого момента арестованными. Солдаты препроводят вас сейчас в арестантские фургоны, вы будете размещены сегодня в Краковской тюрьме, а после – Германия и воля Фюрера решат вашу участь. Расстрел и смерть ждут тех, кто попытается оказать сопротивление решению, принятому властями. Однако – мне известно, что среди вас есть несколько женщин. Великая Германия не воюет с детьми и женщинами и те будут отпущены, имея возможность исполнить свой долг и сообщить вашим семьям и близким о том, какая участь справедливо постигла Вас. Если они изменят своему долгу и не сделают этого – вина будет лежать на них. Солдаты, арестовать!

Зал, который возмущенно загудел уже в середине речи оберштурмбанфюрера, а в конце ее почти начал кричать, вскакивает и разражается воплями протеста и гнева, издевательствами и оскорблениями. Люди сопротивляются солдатам, не желают подвинуться со своих мест, кричат им что-то по польски, оскорбляют их, отмахиваются и пытаются отбиваться. Профессор Станислав Эстрейхер кричит что-то оскорбительное Мюллеру по немецки, бросается к нему с кулаками, его немедленно валят на пол и начинают бить прикладами так, что Бруно Мюллер вынужден даже окриком и жестом остановить привыкших делать дело солдат. Доцент Кшиштоф Парецки, не смогший просто смотреть на избиение Эстрейхера и бросившийся ему на помощь, получает тяжелейший удар прикладом в лицо и залитый кровью, на несколько минут теряет сознание. Два старых профессора на первом ряду, неизвестные Мюллеру, спокойно, с гневным и презрительным блеском глаз встают, подходят к солдатам и позволяют им провести себя к выходу, под арест. Остальных выгоняют из зала и ведут по коридору, к подъехавшим арестантским фургонам практически силой, с ударами прикладом и криками, это занимает долгое время, ведь речь идет о почти двух сотнях людей. Но Бруно Мюллер не торопится – им владеет наслаждение торжества. Это его дело, им подготовленный и осуществленный блестящий спектакль, которому суждено войти в историю, им лично совершенную историю, и он хочет неторопливо впитать глазами и чувствами прекрасное зрелище. Черт с ним с Беккером, с пронырой и собакой, пусть напишет, что это он сам всё придумал и сделал. Ему, Бруно Мюллеру, ничего не нужно, кроме самих этих мгновений.

Всю речь «эсэсовца», как его там зовут, профессор Лер-Сплавински, ректор Ягеллонского университета, слушает приоткрыв рот, вылупив на того блестящие от гнева, ставшие похожими на бычьи глаза, хрипя и рыча могучей еще грудью. Вот оно, вот судьба, так она выглядит и приходит!! Вот то, что «обречено свершиться» и что «должно принять». Да ничего не «обречено» и не «должно», будь всё трижды проклято, ничего!!! Будь проклят старый маразматик Стернбах, будь проклят он сам, что поддался и отступил от главного принципа – борьбы до последнего, до конца дней не сотрется и не искупится его вина за это!!! Можно было попытаться отложить «лекцию», не дать как мышей заманить всех в западню и забить тревогу, что немцы что-то замышляют, попытаться поставить в известность кардинала и архиепископа, да мало ли еще что! А теперь?! Что будет сейчас с выдающимися и долгие годы знакомыми ему людьми, гордостью города и страны, которых он – он, Лер-Сплавински, так уверенный в своей миссии спасти и провести Университет в испытаниях, привел в эту залу и отдал во власть этим беспрекословным в подчинении скотам и самодовольной, уверенной в себе, полной откровенного торжества немецкой свинье, которая что-то там сейчас лает со сцены?! Первые его движения – броситься к свинье и вцепиться ей в глотку, но его слишком быстро хватают и начинают вести в вестибюль…

…Арестованные проведут ночь в краковской тюрьме, некоторые – в казармах, на утро значительная часть будет этапирована в тюрьмы Вроцлава, а через несколько недель, всех их так или иначе отправят в концентрационный лагерь Заксенхаузен, в котором командует в это время Рудольф Гесс, будущий создатель и комендант лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, более известного как «Освенцим». Профессор Игнац Хшановский умрет там через два с небольшим

месяца от воспаления легких. Профессор Стернбах, ровно через месяц после кончины коллеги, будет забит на смерть охранником концлагеря Заксенхаузен, офицером СС Гуго Вольфом. За цвет польской интеллигенции и науки вступятся итальянский дуче Беннито Муссолини и Ватикан – их вмешательство в дело приведет к освобождению 101 профессора, старше 40 лет, в числе которых будет и ректор Тадеуш Лер-Сплавински. Остальные из арестованных 6 ноября, в аудитории номер 66 профессоров и доцентов Ягеллонского университета, будут этапированы в Дахау, откуда их выпустят в январе 1941 года. Они вернутся в Краков, где под руководством ректора Лер-Сплавински, с зимы 1942 года и вплоть до самого освобождения города, будет организовано подпольное функционирование Университета. Одним из студентов Университета в эти годы будет молодой, еще никому не известный поляк Кароль Войтыла – будущий архиепископ Краковский и глава Ватикана, великий римский папа, гуманист Иоанн Павел II.

Глава третья

Осколки истины

Рано наступивший крепкий мороз, укрыл за ночь поверхность воды в колодце довольно толстым слоем льда, ведром сразу и не прошибешь. Обнаруживший это, выскочивший в тулупе на почти голое тело Войцех чертыхается, бросает жгущие ему руки ведра, бежит по тропке в сарай и после, топором пробив лед, торопясь несет полные ведра в дом – разогреть, умыться, вскипятить чай. Слава богу, дров-то он хоть с вечера додумался хорошо натаскать в дом. Магдалена встанет через час, к этому времени всё будет готово, он подаст ей в кровать тулуп, чтобы та не застудилась – сколько не топи, а в доме хлипенькой постройки тепла всё равно не будет, обует ее ноги в туфли – этой радости у него не отнять, подержит перед ней медное блюдо – та посмотрится в него вместо зеркала и приведет в порядок волосы. После – они сядут пить чай и завтракать. Вечером Магдалене играть концерт, днем она должна зайти в родительскую квартиру – по людски помыться, привести себя в порядок и приготовиться, так что вскоре после завтрака она выедет, ведь добраться до Кракова может забрать и пару часов. Ему сегодня некуда идти. Два урока истории он даст соседским детям завтра. Сегодня же, когда Магдалена уедет, он постарается натопить до жары дом, потом может отдохнет, а может быть – почитает и под влиянием текстов заставит себя хоть немного подумать. Он начинает забывать, что такое думать. Он, для которого мышление было жизнью, содержанием и смыслом жизни, вдохновенным творчеством… Бывает же!.. Но пока Магдалена еще спит и он сидит на корточках перед печкой, покрытой изразцами грязно-салатного цвета с синим узором, и подкидывает потихоньку дрова, чтобы вовремя разогреть ведра с водой…

Хорошо, что в доме нет зеркала. Его вправду нет – стоит остов от большого с зеркала с тумбой, а самого зеркала нет: видно когда-то разбилось. И хорошо, что так. С того вечера в университетском дворе он противен себе, живет и что-нибудь делает только условно, отложив на какое-то время последний счет с собой, в самом прямом смысле не может смотреть себе в глаза. Он ведь не трус, он много пережил и прошел в жизни. Платил за убеждения и ценности. Жил, движимый сознанием смерти – поверьте, это в принципе значит не быть трусом. А вот же – когда смерть из чего-то, вызывающего ужас, требующего и налагающего ответственность, но что будет «еще не сейчас», позже и в неопределенности будущего, превратилась в то, что может случиться именно сейчас и в следующее мгновение, он ополоумел от ужаса и страха, сверкая пятками побежал, не помня себя прыгал с крыши, чуть не сломав ногу и подспудно желая только одного – жить, любой ценой жить, хоть немного еще жить. Ведь всё равно будет и надо быть к этому готовым. И готовиться нужно всю жизнь – творчеством и делами, следом, пройденной жизненной дорогой: он знал это с юности, с максимальной честностью следовал этому принципу всю жизнь. А вот же – когда, показалось: пришло мгновение и судьба готовится произнести сакраментальное, шекспировское «милорд, мужайтесь, нужно умереть», он, огромный сорокалетний мужчина, словно ребенок стремглав побежал, запрыгал по крышам, надеясь улизнуть от судьбы и найти спасение, как ребенок же был готов кричать от ужаса, да горло слава богу свело. И ведь ему даже не приставили дуло к виску. А как ты, сын шлюхи, отродье эдакое, будешь умирать, когда всё-таки, рано или поздно придется, ведь придется же, так или иначе, настанет однажды миг?! А?! А в принципе – можно найти спасение от судьбы или от того, что будет, не уйдешь и значит, к нему надо быть готовым и готовиться: делами, правдой решений и созиданием, подлинной и жертвенно преданной созиданию, верной совести и чувству ответственности жизнью?! И хоть большинство людей под солнцем не решаются даже думать о том, что для профессора Войцеха Житковски было

главной проблемой, когда он был еще еврейским юношей Нахумом Розенфельдом, сыном великого раввина, чему сейчас он просто не нашел в себе сил прямо взглянуть в лицо, и вина его быть может была не столь велика, он не мог себя видеть, зачастую – в самом прямом смысле. Он всегда до глубины души верил, что философское мышление и в оном добытое – для жизни. Что все истины, ценности и принципы, в этом мышлении обретенные – для жизни и жизнью, решениями и выбором человека востребованы, а потому жизнью же, решениями и выбором должны быть подтверждены. От называемого «правильным» совестью человека до того, что считает таковым его ум – всё должно быть подтверждено жизнью, найти выражение и воплощение в том, какова жизнь, да иначе просто и не может быть. Мы познаем мир и самих себя для того, чтобы жить подлинно, строить себя и жизнь. Он верил в это как в последнюю истину. Это было для него словно бы последней точкой опоры внутри. Он истово верил в это, ибо именно так долгие годы мыслил и жил. Со времен юности, приступов ужаса перед смертью и одиноких воплей отчаяния в закутке за Старой Синагогой, его мысль была именно такой – спасающей и созидающей жизнь, дарящей путь, свет надежды и ответ на самые мучительные дилеммы, погруженной в ад обуревающих жизнь конфликтов и противоречий, и проясняющей их, раскрывающей возможность их разрешить. И потому – дарящей в самом прямом смысле спасительные основы жизни, становящиеся ими ценности, моральные принципы и императивы. Философски осмысливают и постигают собственную свободу – которая заставляет решать и страдать, обрекает на трагические испытания, становится истоком подчас гибельных конфликтов и противоречий судьбы, ее адом и кровавой драмой. И делают это, чтобы свобода стала возможной. Огонь, таинство и вдохновение мысли обращены к собственной, личностной по сути жизни, в которой свободен и несешь бремя ответственности за себя, однажды будешь умирать, но еще прежде этого – посреди обычных обстоятельств и вещей замираешь на краю гибели, бездны отрицания и пустоты, перед сонмом подлинно страшных противоречий, дилемм и конфликтов. Перед лицом которой и пронизывающих ее катастроф, противоречий и дилемм ты сам, совершенно одинок и предоставлен лишь собственным нравственным и творческим силам, воле к борьбе и самостоятельному, мужественному и способному глядеть в лицо наиболее жутким вещам уму. И потому – которую постигаешь, чтобы вообще смочь жить, обрести в ней свет смысла и надежды, путь и твердое, несомненное решение того, что ставит ее на край гибели и катастрофы, под вопрос самой ее возможности. О, как же глубоко и наверняка он знал это, как истово в это верил! И еще в то, что каких бы абстрактных, казалось бы совсем далеких от жизни и каждодневной действительности вещей не касалась философская мысль, по самой ее сути она затрагивает человеческую жизнь наиболее глубоко, даже в тех вопросах, которые словно бы не имеют к таковой отношения. А потому – обретенные в философском мышлении истины так или иначе определяют жизнь человека и превращаются в ее фундамент, не просто должны быть подтверждены ею и найти воплощение в том, какова она, но обычно это со всей неотвратимостью происходит, и иначе не может быть. Абстрактность, удаленность от жизни и повседневности философских вопросов – это всегда лишь кажимость и в общем очень глупое, поверхностное и продиктованное плоскостью обывательского опыта представление. Он верит в это со времен его дипломной работы и первых книг, споров с профессорами и демарша – мужественного ухода из «альма матер» в тернии жизни, одиночество творчества и мысли, ответственности и дилемм поиска и познания, который состоялся именно в его борьбе за самостоятельность, подлинность и свободу мысли, его личную человеческую свободу в ней! В его борьбе за свободу, настоящее творчество мысли и право быть собой вообще… С почти незапамятной, очень рано наставшей поры, когда в зрелости личности, мышления и осознания себя еще студент, а после выпускник Ягеллонского университета и бросившийся в тяжкие испытания молодой философ, вышел к глубокой, вдохновенной рефлексии над самим мышлением, его истоками и сутью, ясно и на уровне незыблемой веры понял ту неразрывную

связь философской мысли с жизнью, личностью и свободой человека, которую прежде узнал, могуче и во многом спасительно обрел в опыте. Философское мышление всегда было для него основой нравственного строительства себя, созидания жизни, ее подлинности и нравственной цельности, раскрытия главных возможностей человека, наконец – обретением тех ценностей и моральных принципов, которые определяют жизнь, поступки и решения, отношение к людям и миру вокруг. Тем, что неразрывно с дорогой совести, свободы и ответственности за себя, самостоятельных и личностных решений. С одиночеством в этих решениях, как и в жизни вообще, на которое обрекают свобода, ответственность за себя и совесть, часто казавшимся ему самой сутью свободы. И конечно же – чем-то неотделимым от свободы, личности и человечности человека, самой возможности для него быть моральным, что в опыте совести и свободы, в обращении к совести, способно утверждать ценностью и нравственными принципами совершенно иное, нежели религия и конфессия, социальная среда и ее мораль. О, это он узнал еще со времен юношеского пушка на щеках, тайных мук, мечтаний и надежд, разрывающего его душу «бунта» и ненависти к отцу… О кантовских императивах пишут книги и читают лекции, но сами эти императивы, как и множество других – для жизни, их обретение и прояснение в труде мысли востребовано жизнью, борьбой за ее подлинность и нравственную цельность, за право в ней на совесть, свободу и нравственную чистоту, воплощением в ее строительстве, в решениях и поступках долга совести, налагаемой совестью ответственности. А потому – мысль, движимая совестью и свободой, трагедией разума и личностной, вставшей на пути разума жизни, сонмом пронизывающих эту жизнь дилемм и противоречий, от нее конечно же неотделима и обретенные в труде мысли истины, так или иначе ее определяют, должны быть ею подтверждены. И если мысль человека подлинна, то не может быть так, чтобы обретенные в ней истины, раскрытое ею понимание вещей были чем-то одним, а жизнь и поступки человека – другим. В любом случае – до того растреклятого вечера, который спас его, но был полон позором, жизнь и мышление, духовные борения и искания пана профессора Житковски, исповедуемые им истины, ценности и нравственные императивы, его верность свободе, совести и истине как таковой, были чем-то неразрывно сплавленным. И в особенности была сращена с его жизнью истина борьбы со смертью, готовности платить любую цену за верность себе и тому, без чего жизнь всё равно утрачивает смысл, необходимости побеждать в этом страх. Да и вообще, словно одна из главных истин, от жизни ставшего легендой «неистового профессора» было неотделимо понимание, что человечность человека возможна лишь с его способностью побеждать страх. Перед смертью – к обретению мужества во встрече со смертью, еще с лет юности для него свелась словно бы вся драма существования, пути и творчества человека. И еще более – перед самой обязанностью глядеть смерти в лицо, сознавать ее трагизм и неотвратимость как судьбы: только так, с юности понял и долгие годы говорил он, человек обретает мужество быть свободным и самим собой, отвечать за судьбу и жизнь, решать и бороться, бросаться в испытания и неизвестность, во всю тяжесть творчества, развития и становления, труда над жизнью, в неотвратимые с этим конфликты. Страх и ужас перед смертью, всегда говорил «неистовый профессор», предельный трагизм ее ощущения как судьбы, парадоксально делают человека мужественным в самой жизни, в способности и решимости принять бремя свободы и ответственности за нее, поисков и труда над ней и собой, над воплощением данной в ней возможности творчества. И конечно – в готовности в этом на борьбу, противоречие миру и среде, подчас кажущиеся гибельными, непосильными испытания и риски. И уж если что-то способно заставить человека принять всю муку и тяжесть свободы, решений, ответственности за жизнь и самого себя, неотделимых от этого конфликтов, борьбы и испытаний, преодолеть страх перед этим, то именно ужас перед смертью, наиболее правдивое и трагическое переживание, осознание смерти как судьбы – так он говорил и писал с давних пор. Только так человек находит силы, решимость и мужество быть самим собой, принять означающий это путь свободы, ответственности за себя и борьбы,

оказывается способным противостоять в этом миру и среде, проклятой данности его бытия. И конечно – страх перед свободой, одиночеством совести и ответственности, тяжелыми и целиком самостоятельными решениями, которые только личной ответственностью можно оправдать и подтвердить. Перед мраком тайны, в лицо которой глядит в ее истоках подлинная и самостоятельная мысль. Перед кажется бесконечной вереницей испытаний и мук, которые от всего этого конечно же неотделимы. И его ярость в дискуссиях, которая вместе с ним самим и вечно обуревающими его жизнь и судьбу конфликтами стала легендой, просто воплощавшая силу его личности и верности тому, от чего отступиться, пусть даже самой невообразимой ценой нельзя, была тому подтверждением. Для него в жизни были подлинно ценные, святые и непререкаемые вещи, которые он отстаивал именно яростно, истово, с готовностью рисковать, конфликтовать и платить испытаниями, муками и кульбитами судьбы, вопреки миру, который словно в ультиматуме, ради самого права жить и выжить, как-то приспособиться и провлачить отпущенный век, вечно требует отказаться от них, предать их. И никак иначе нельзя было, конечно, ибо речь шла о том личностном, что ценнее жизни, предательство чего во власти социальных обстоятельств жизни и судьбы, означает отрицание самого себя и лишает жизнь смысла. И преодолевать страх в отчаянной за них борьбе, в верности им – от истины, подлинности и свободы творчества до вообще свободы, права на совесть и жизнь в нравственном согласии с собой, было главным. Социальная извращенность жизни и мир вечно требуют от человека предать самого себя, во имя права выжить растоптать наиболее сущностное в нем как личности – ценность свободы, долг разума и совести, не оставляют для его человеческой личности и подлинности, всего с этим связанного места, а потому – борьба за смысл, право и возможность быть собой, возможность быть вообще, означает нечто одно и яростную, по истине смертельную схватку с кажущимися непреодолимыми, требующими беспрекословного повиновения обстоятельствами, грозящими гибелью «бунтарю» и несогласному. И в этой схватке, собственно и означающей подлинную, личностную и творческую жизнь человека, должно суметь главное – преодолеть страх. Да и не мог он конечно же думать и верить никак иначе, ибо вся его жизнь с зеленой юности была трагической, полной пафоса и испытаний, свершений и перемен дорогой разума и ответственности, борьбы за свободу и право быть собой, возможность настоящего творчества, на которой первому, чему он научился – душить и побеждать, преодолевать страх. И он не знает, когда топтал и преодолевал страх более мужественно – разорвавшись ли с отцом и общиной, перейдя после с факультета права на философский, еще молодым студентом принявшись отстаивать правду и свободу мысли перед лицом ее социально узаконенной, освященной столетиями академической извращенности и духоты, либо потом, пренебрегши карьерой и очевидными перспективами, уйдя в мытарства, тяжесть быта и творческого одиночества, угрозу вообще пропасть и не стать ничем, но в конечном итоге сумев победить мир и судьбу. И не власти страха дано было погубить судьбу, жизнь и возможности еврейского мальчика Нахума, который трагически рано осознал себя, познал вместе с этим весь ад борений и мук, обречен был наверное вообще пропасть, но через бесконечность борьбы, решений и испытаний право быть собой отстоял, стал крупным философом, лектором, легендарной персоной и автором книг, который, даже если предстоит ему ныне во власти сотрясших мир обстоятельств сгинуть, какой-никакой след всё же оставит. Всем этим он себя сделал – жертвенным трудом, борьбой, мужеством решений и готовностью на перемены, силой его свободы и нравственного начала, яростной и беспрекословной верностью главным вещам, его несломимой волей и умением душить и преодолевать страх, а вовсе не одним только данным ему с юности талантом ума. Он был честен, настоящен и достоен в его жизни – это правда, которая подтверждена всей пройденной им дорогой, его именем, делами и книгами, множеством прочитанного им с кафедры и проникшихся его мыслями людей, в голос и невзирая на риск расплаты им произнесенного, его решениями и окутывающими

в университетских коридорах и слухах его персону легендами. Да, но только до того вечера… А в тот вечер, по неведомой причине страх победил его, целиком и полностью, вплоть до припадка полубезумия им овладел… О да! Философские истины, по самой сути мышления и его истоков, в его неразрывной связанности с личностью и свободой человека, трагедией бодрствующего духа, обречены становиться моральными императивами и ценностями, которые определяют жизнь человека, превращаются в русло и принципы ее творчества, ложатся в ее основы. В истоках вдохновения мысли всегда лежит воля человека к нравственному строительству себя, разрешению дилемм, перед которыми его ставят совесть и враждебная совести, социально извращенная данность жизни… Да вообще жизнь, как она вечно предстает человеку с опытом «пробуждения» и осознания себя в ее трагизме, глубинных и кажущихся неизбывными противоречиях. И конечно – воля к борьбе со смертью и пустотой, за свободу и подлинную жизнь, нравственную чистоту жизни… А потому – чего бы не касалась мысль, стремящаяся к истине и однажды неудачно названная «философия», она в конечном итоге формирует моральные императивы и ценности, которые должны определить жизнь человека и быть той подтвержденными. Он многократно говорил это – в книгах и статьях, на лекциях. Он исповедовал это как истину, ибо его мысль и жизнь были именно таковы. Он знал это как одну из главных истин кажется всю его жизнь – опыт еврейского юноши, в котором на беду, муку и бесконечность борьбы, но вместе с тем, словно загадочное чудо и на свершения проснулась личность, задавленного духотой ортодоксальной жизни и вставшего поэтому на край гибели еще в пору «зеленого» пушка на щеках, просто не позволял иного. И до того вечера пану профессору Житковски, урожденному еврейскому мальчику Нахуму, не в чем было себя упрекнуть – и его мысль, и обретенные в ней истины с дорогой его жизни и судьбы, с наполнявшими ту борениями и драмами, с его решениями и долгом его личностной, человеческой совести, подавшем голос очень рано, были неразрывны. Он мыслил, чтобы жить, строить себя и жизнь, обретать путь и разрешать дилеммы и противоречия, которые жизнь, свобода и разум, совесть и ее долг словно бы бесконечно ставят перед человеком, вновь и вновь наваливают на человека каждым следующим шагом и мгновением, даже если один раз покажется, что главное понято и преодолено. Он мыслил, чтобы разрешать те бесконечные, глубинные и как правило трагические дилеммы, конфликты и противоречия, которые разум, свобода и совесть неизменно привносили в поле жизни и судьбы, отношений с людьми и миром вокруг. Но он и жил так, как раскрывали и требовали его мысль, обретенные в ее вдохновении и труде истины, причем не «программно», а по сути, просто подчиняя множественные поступки, решения и повороты судьбы, отношение к этим и другим вещам тому, что глубоко и на уровне веры было им понято. И верность несмотря ни на что свободе, истине и долгу совести, борьба со смертью и попытка подлинной, творческой жизнью обрести во встрече с ней мужество и достоинство, сами по себе были для него одной из главных истин, которую он ревностно исповедовал с юности. Как и то, что мысль человека неразрывно связана с драмой его личностной жизни и судьбы, свободы и самоутверждения, нравственного строительства себя, воплощает ее и весь обретенный в ней, бесценный и многообразный, обычно глубоко трагический опыт. «Верность совести и ее полный терний, означающий свободу и требующий решать путь – вот вдохновляющий гений философии». Так он любил переиначивать слова Сократа, для которого этим неизбывным «гением», вдохновляющим началом философской мысли была смерть. И он не случайно делал это и пытался указать на опыт свободы как вдохновляющий исток философствования – ведь ни сам такой опыт, ни долг и путь совести, становящийся бесконечностью императивов и дилемм, от осознания смерти и отношения к смерти в истоках, в последней глубине неотделимы. Этикой мысль человека, если по сути и истокам подлинна, становится неотвратимо и просто потому, что несет в себе неповторимый опыт свободы, разрешения человеком по совести, в свободе и полноте личной ответственности множественных вызовов, конфликтов и дилемм, противоречий его жизни – от смерти,

отчаяния и пустоты до главного вопроса «как жить» и кажется бесконечности проистекающих из него вещей. И потому – если за самой мыслью стоит драма жизни, свободы и совести, личностного пути человека, то постигнутое и обретенное в ней как истина, конечно же должно быть подтверждено поступками и жизнью. А его истины в тот вечер не выдержали, рухнули… почему? Означает ли факт, что перед лицом реальной, прямой угрозы смерти они не выстояли, их ложность?.. Ведь одна из главных для него истин – борьбы со смертью творчеством, правдой жизни, решений и дел, в тот вечер не выстояла, оказалась ложью или просто была им почему-то предана. Стремившийся жить именно так, он в решающий момент, не понятно по какой причине, оказался в полной власти у страха перед смертью, которая лишила его способности не то что следовать должному, но просто отвечать за себя и хорошо осознавать происходящее, сохранить достоинство и лицо, побудила желать одного – любой ценой спастись, унести от пришедшей судьбы ноги. И почему так случилось, что по сути произошло с ним тогда, в окутанном ноябрьской мглой университетском дворе, он до сих пор не понимает и лишь рассчитывает однажды, подобно суду и сведению счетов с самим собой, всё же суметь понять. А он в те мгновения пал, во власти страха перед смертью предал достоинство, долг совести и самого себя, словно растоптал себя в «ничто» и прах. Творческая, вдохновенная и нравственная ярость мысли, которую порождают в ней свобода и жажда истины, ее глубоко личностная суть, обращена к той действительности, в которой неповторимо, единожды и навечно совершаются и движутся к смерти собственная жизнь и судьба, и потому – философская мысль во все времена есть таинство диалога с действительностью. Глубоко личностный акт творчества, свободы и поиска истины в той же мере, в которой полное таинства приобщение к действительности, ее обретение человеком. Требующее личности и свободы таинство творчества и познания постольку же, поскольку обретение спасительных основ бытия и пути, полный экстаза и вдохновения диалог с миром, в котором человеческое бытие трагически и неповторимо совершается. Опыт и акт свободы, творчества и поиска истины, диалога с действительностью в той же мере, в которой нечто глубоко и по сути личностное, от судьбы и бытия человеческой личности неотделимое. Это он пытался донести студентам с самых первых лекций – пусть не рассчитывая на немедленное понимание, в силу возраста и ограниченности опыта наверное и невозможное, но забрасывая в их умы и души зерна, которые когда-нибудь станут способными принести плоды, хотя бы в немногих из них. И в первую очередь – он знал и понимал долгие годы – это касается по понятной причине вопросов нравственных, связанных с трагедией смерти, ответственностью перед ее лицом за саму жизнь, собственные решения и поступки. Ведь долг совести и лежащая на личности нравственная ответственность, чего бы они не касались – решений, поступков, самой жизни и творчества, которому она посвящена, отношения к другим людям и миру вокруг, вороху наполняющих или сотрясающих мир событий, в сути и какой-то последней глубине упираются в трагедию смерти и отношение к смерти, есть ответственность перед смертью и неотвратимым судом той. Это он знал и обрел как опыт, интуитивно ощутил кажется даже прежде, чем в его судьбе произошел страшный разрыв с семьей и общиной. За опытом подлинной философской мысли всегда стоит опыт осознания себя, личностной жизни и судьбы с сонмом неотделимых от этого, трагических вызовов, дилемм, противоречий и конфликтов, и конечно же – опыт свободы и нравственного строительства себя, разрешения самых главных и страшных вопросов: смерть, ад отчаяния и пустоты, гибельная сила и власть «бунта», пронизывающая жизнь, собственное существо и окружающие вещи неизвестность. Ведь неизвестность, прорывом которой во все времена являлся опыт творчества и познания, называемый «философия», затрагивает бытие человека наиболее сущностно и глубинно, ибо пронизывает его самые определяющие и трагические дилеммы, вопросы и конфликты, данный в его неповторимых мгновениях мир и собственное существо человека. Он сам обрел опыт такой мысли именно с рано наставшей в его судьбе и жизни зрелостью духа, когда еще не знал

даже слова «философия», которое хоть и крутилось конечно в книгах еврейских теологов, но как-то не обращало его внимания, проходило мимо его ума и глаз. А потом – постигая самого себя, опыт бытия, мышления и свободы, мук и духовных борений, нравственных исканий и дилемм, со всей ясностью и как одну и из главных истин понял это. Обрел это как его философскую веру и путь в витиеватом, полном коллизий и заблуждений, противоречий и лжи мире мысли, в ее драмах и перипетиях, подчас настоящей трагедии в тисках академизма и в реалиях той или иной эпохи. Вопрос об истине есть поэтому в самом подлинном смысле глубоко личный вопрос, он верит в это и так это для него почти всю его жизнь, с лет молодости и тех самых пор, когда он мучительно, трагически и загадочно пришел к осознанию себя. Этот вопрос личен, ибо чего бы не касался – есть вопрос свободы и самой жизни, наиболее остро и трагически поставленный жизнью, опытом осознания себя и присутствия в мире, той свободой, средоточием которой являются собственный, самостоятельный и критичный разум человека, а воплощением – неизменно продиктованное, порожденное им одиночество перед лицом подлинного мира. О, ни во что он не верит долгие годы так, как в это, ибо именно с этим связана во все времена суть, судьба и трагедия философии как свободы, воплощения и быть может последнего достояния свободы! Стремление к истине и порожденный тем вдохновенный порыв мысли, обращены к ценностям и моральным принципам, обретение которых призвано определить и созидать собственную жизнь и судьбу человека, проложить его неповторимый путь, затрагивают моральность, которая есть его личный, полный трагизма и испытаний путь свободы и ответственности за себя, поисков и решений. Дилеммы моральной ответственности, которые разрешает и проясняет мысль, определяют и наиболее глубоко затрагивают собственную жизнь человека, есть дилеммы совести и свободы, строительства себя, от решения которых жизнь и путь человека завясят напрямую, по крайней мере – так должно быть. Он знал это и верил в это как истину, множество раз говорил это по тому или иному поводу студентам, пытаясь раскрыть перед ними суть и истоки дела, которое они пришли изучать, которому решили приобщиться и посвятить жизнь. Философская мысль сущностно и неразрывно сопровождает тот трагический путь разума, ответственности и свободы, созидания и решений, раскрытия человеком собственных возможностей, который называется быть самим собой и во все времена воплощает человечность человека. О кантовских императивах рассуждают на лекциях, да, но сами императивы для жизни, их воплощение – опыт жизни и строительства себя, если же иначе и жизнь – жизнью, а нравственный долг собой и истина только для конференций и статей, то не смей ни рассуждать, ни открывать рта! Займись чем-то более простым, но настоящим и полезным, хоть сапоги хорошие шей, и то будет больше смысла и чести! О, если для якобы познания и «хабиата», академической карьеры и прочей чепухи одна действительность, а для жизни, борьбы и решений, неотвратимой смерти и мук совести, подчас равнозначных гибели и катастрофе дилемм – другая, то займись тогда и вправду чем-то простым и полезным! Либо та истина, к которой ведут свобода и яростное, экстатическое и всегда загадочное вдохновение настоящего творчества, осознание которой, подчас кажется, способно разорвать грудь и определяет жизнь и путь, решения и поступки человека, для этого вообще призвано, либо же ничего не надо! Либо истина, за поиском которой стоят трагедия свободы, разума и подлинной жизни, которую будешь отстаивать на смерть и как он – с превратившейся в легенду яростью, ибо затрагивает она именно тебя самого, собственную жизнь, совесть и свободу, сращенный с мгновениями неповторимой жизни мир, либо уж лучше жить благодушным и цельным, бездумным и не знающим мук и терзаний, катастроф и гибельных дилемм «простецом», трудиться и делать что-то полезное, растить детей, без тени ужаса и содрогания идти к бездне и использовать жизнь. Либо истина, обретенная в свободе и творчестве, ставшая верой и намертво сращенная с собой, собственной судьбой и жизнью, с совестью и теми решениями, поступками

и поворотами пути, которые требования совести подтверждали, за которую поэтому – он часто говорил так! – борись и сражайся яростно, готов будь возможно и на костер взойти, либо сапоги шей, сучий сын, научись землю пахать или лечить людей, делать что-то, верность и значимость чего дана воочию! Оттого он так трагически, яростно ненавидел с молодости лоск и благообразие академического мирка, в которых часто словно бы нет ни подлинной жизни и действительности, ни творчества настоящей, обращенной к ней и жаждущей истины мысли, а кроются лишь приспособленчество, социально узаконенная ложь и вечно стоящая на службе у той безликость. Вот тому мышлению, которое, как он нередко любил говорить, происходит между человеком и пасмурным ночным небом, словно олицетворяющим трагедию жизни и смерти, пронизывающий бытие человека и ад подлинного мира мрак тайны, то есть в одиночестве перед ужасом, противоречиями и загадками настоящей действительности и жизни, в социально лживых и извращенных условностях академических коридоров обычно не остается места. Ведь оно, во все времена несущее с собой трагический опыт бытия, обрушения в бездну неизвестности, отчаяния и пустоты, противоречий и отрицания, как сама свобода и личность, а так же скепсис и мука самостоятельного ума, голосом которых является, заключает в себе вызов, угрозу прочности, упокоенности статистического социального сознания и существования, а потому – социально опасно и ненавистно. И это неизменно так – от выпившего яд Сократа, сгоревшего на Кампо-дель-Фьоре под улюлюканье благочестивой толпы Джордано Бруно до тех затронутых им в книгах русских философов, изгнанных и чудом не кончивших пулей в лоб, которым в строительстве «свободного и справедливого общества», исповедующего единственно правильное и объективное мировоззрение, места не осталось… Увы – в «оплоте знания и разума» для того мышления, за которым стоят свобода и борения духа, жажда истины, опыт и кровь подлинной жизни, которое мужественно бросается в загадку и проблемность настоящего мира и ниспровергает в этом мифы и химеры, места чаще всего не оказывается… Смешной и очень трагический парадокс, который ему довелось изведать собственной судьбой. Загадка в том, что тоталитарные, враждебные свободе личности и отрицающие, ненавидящие ее, нередко кровавые и нигилистичные мифы, в современности рациональны и наукообразны, создаются наукой и предстают «объективной», не допускающей сомнений и возражений истиной. И подобная «истина» провозглашается в отношении к вещам, которые есть область и вотчина человеческой свободы, а потому – личной совести, самостоятельных решений и самостоятельного же, в этом скептичного, обращающего в неизвестность и рушащего «социально узаконенное» ума. Эта истина, якобы «объективная» и «конечная», подобным ореолом лишь доказывающая, что она – просто тоталитарный социальный миф, провозглашается о вещах, которые предстают перед человеком лицом вечной и неизбывной тайны, в отношении которым возможен лишь тот героизм бесконечного вопрошания и мышления, поиска истины, за которым стоит свобода. И вот – идет ли речь о временах католической инквизиции или его величества Георга Пятого, академические коридоры как правило обслуживают эту «истину», то есть торжествующие в конкретный момент социальные мифы, для свободы духа и личности, воплощающей ее и яростно жаждущей и ищущей истину мысли, места не оставляют. И мысль как свобода духа и личности, за которой стоят опыт и трагедия подлинной жизни, оказывается ненавистной и опасной даже для якобы «рациональных» по сути и форме мифов, для академических коридоров и стен, олицетворяющих «победные шаги» и гибельный, лживый пафос «объективного» разума, химеры которого способны превратить мир в ад… О, ничто так социально не ненавистно и не опасно, как способность самостоятельно, критически и иначе судить о вещах, которые должны мыслиться строго определенным и социально узаконенным образом, а потому – быть якобы несомненно и объективно «ясными»! Ведь тогда на место химеричной определенности, ясности и понятности вещей, приходят ужас и мрак тайны, пронизывающей подлинную жизнь и действительность неизвестности, рушится в пыль и прах утлый мирок обывателя,

в котором он от них находит убежище, создаваемый то теологией, то объективной наукой и иллюзией ее безграничной юрисдикции. И рушится иллюзорно понятный и прочный мир обывателя, а на смену ему приходит то подлинное, взглянуть в лицо чему требует небывалой силы и мужества. Опаснее и ненавистнее этого наверное только способность философской мысли обращать к совести и свободе, полноте личной ответственности в отношении к вещам вокруг и тому, что считается социально императивным и приемлемым, обнажать преступность и оборотную сторону подобного, трагедию смерти и подлинной жизни вообще… Оттого-то, даже сумев однажды победить и спастись, завоевать в академическом мирке собственное, до событий катастрофы ни чем и ни кем не колебимое место, отстояв посреди атмосферы лжи, приспособленчества и торжества различных мифов право быть самим собой, право на свободу и настоящее творчество, он всё равно продолжал стоять особняком, был эдакой «диковинкой», с которой просто примирились и сжились. Он просто завоевал трудом, борьбой и талантом право быть собой там, где этому далеко не всегда есть место. Обретенные в мышлении истины – для жизни и жизнью, пронизывающей ее борьбой и кровью должны быть подтверждены, их поиск востребован жизнью, свободой, опытом моральности и решений, строительства жизни и самого себя. Он верил во всё это, жил такой истиной, быть может самой главной и последней, был честен с собой или по крайней мере – думал так и не имел причин сомневаться. И вот – при первом же испытании реальной опасностью и угрозой смерти он потерял мужество, не нашел того в себе. И вот – он не то, что не «взошел ради истины на костер», хотя платил за верность ей, свободе и правде творчества в жизни не мало, а просто зайцем побежал от смерти, когда угроза той впервые стала реальной и почти осязаемой, слепящей фарами въезжающих в университетских двор машин. Страх, целиком и исподволь овладевший им, обрушил его веру, словно разверз пропасть между одним и другим, что до того вечера было сплавлено и неразрывно – жизнью, поступками и вдохновенно постигнутой в творчестве и опыте, яростно исповедуемой истиной. Это унизило, нравственно и личностно растоптало его. Это стало для него падением, драмой и кровавым счетом с собой, который длится всё прошедшее с тех пор время и словно рана не то что не заживает, а очевидно обещает оставаться открытым еще очень долго, быть может – пока не погубит его или не заставит его сделать что-то, чтобы самого себя суметь простить. Обернулось крушением, разочарованием в себе… утратой не просто веры в себя, а словно последнего доверия к себе и всему, что прежде определяло жизнь. И произошло так в особенности остро и трагически, ибо предшествовавшая вечеру 6 ноября жизнь была прожита им достойно, в верности себе и тому, что он считал в себе главным, от самого себя и смысла собственной жизни неотделимым. С объявшей более двадцати лет борьбой за верность себе и вдохновляющим его путь истинам и ценностям – от свободы и самой истины до долга совести и правды окружающих вещей и событий, перед которой безжалостно разум и совесть ставят. С его легендарной в этом яростью и «гневливостью», готовностью плюнуть на что угодно и платить любую цену, лишь бы остаться верным тому, что предать ни в коем случае нельзя, хоть умри. И вот, в решающий момент и во власти страха перед смертью, он самого главного ради того, что требовали достоинство и долг, заплатить не сумел. Ну и скажи-ка, что же ты еще готов сделать, чтобы сохранить себе жизнь?! Выдать на растерзание любимую женщину, выстрелить в отца, пусть даже тот не желает видеть тебя двадцать лет?! Ведь он же фактически предал собственных коллег и друзей, не решившись вместе с ними рискнуть и не разделив их участь! Об их аресте он начал слышать уже на следующий день, а сейчас они наверное в каком-то концлагере, поговаривают – в Заксенхаузене. Смог бы он сейчас смотреть им в лицо, если бы оказался рядом с ними? А как он будет смотреть в лицо Кшиштофу, гниющему сейчас в концлагере, если им еще доведется увидеться? Сопляку Кшиштофу, на десять лет младше его, который не думая ни секунды бросился защищать избиваемого старика Эстрейхера и сам чуть не был забит до смерти? До нестерпимой муки унижения и стыда, боли нравственного падения, он ощутил пережитую, целиком поглотившую

и чуть не обезумевшую его, заставившую его панически драпать власть страха перед смертью как преступление, познанный им личный грех и позор. Он не мог смотреть на себя, был себе противен и ненавистен, он еще обязательно сведет с собой счеты, дай только срок, заставит себя заплатить! Пока же он решил – надо бороться и попытаться выжить, во имя их с Магдаленой любви, ради надежды что-то еще суметь сделать и написать (хотя какое право писать и провозглашать что-нибудь имеет тот, кто лишился права быть до конца уверенным в том, что пишет?). В конечном итоге – назло этим безумным скотам, бесам, стаду вселивших в себя бесов свиней, абсурдному и безумному миру, детьми которого плоть от плоти они являются, не понятно за что и почему так желающему его погубить. Да просто чтобы увидеть, что будет дальше, за всеми этими событиями, кажущимися толстенным и непроглядным занавесом. Чтобы удостовериться, что дальше вообще будет что-то. Что пляска отрицания и абсурда не станет окончательным торжеством бездны, ее безграничностью и всеохватностью, а под этой пляской и тем экстазом ненависти к жизни и нигилистического безумия, которым стал сегодня мир, еще таится что-то, способное послужить истоком возрождения, возвращения к ценности человека и жизни, к способности любить жизнь, видеть возможность в ней смысла и реализовывать эту возможность, являть чудо смысла. В конечном итоге – почему он, испугавшийся абсурдной и быть может немедленной смерти, реальной опасности утратить жизнь, в которой еще очень многое возможно пережить и сделать, более виновен чем те, кто наверное желал отобрать у него жизнь во имя каких-то химер, просто подчиняясь чьей-то воле?! Почему он был виновен более, чем этот Губерт Шлётц, который из философа и доцента университета стал «эсэсовцем», мясником и подонком, обрекшим на мучения или смерть великих ученых, так похожих на собственного учителя? Войцех пытался ободрить себя этим вопросом, и подобное было во многом справедливо. В самом деле: он, живший творчеством, жертвой, трудом и поисками, всё же что-то сумевший в этом достичь и сделать виновен, а бездумные и безликие, слепо кому-то покоряющиеся и ни за что не ощущающие личной ответственности мясники – нет или менее его? Он, знающий какими муками дается прорваться через неизвестность и обрести свет подлинного понимания вещей, насколько сжигающего душу и жертвенного, многолетнего труда мысли это требует, как обязывает к строительству себя, подлинности жизни и решений виновен, а подонок и мясник Шлётц, участвовавший в аресте профессоров и подавшийся в «эсэсовцы» лишь бы не решать, не мучиться вопросами и поисками, ни за что лично не отвечать, растоптавший кованными сапогами всю свою прежнюю жизнь – нет и имеет право преспокойно жить и не испытывать никаких сомнений в себе? Он, живший во имя написания глубоких, честных и хороших книг, в этом что-то и вправду сумевший, не укравший и не убивший, не использовавший и не причинивший боли, способный настоящностью философских идей и интерпретаций, таинством живого мышления и вопрошания потрясать студентов и пробуждать в них многое и человечное виновен, а те, кто заставляют течь не реки, но словно океаны крови, превращают в «ничто» кажется последние ценности, не должны знать мук? Всё так, верно. Вот только спрос не с них, но с него, ибо цель быть человеком он ставил перед собой, искренне ставил, а не они. Всё верно. Он всё же имеет, за что себя уважать. И уж если судить его, то это тоже должно учитывать. Но Губерт Шлётц – безжалостно говорило ему что-то внутри – сходу, во власти симпатии к тебе или же из памяти себя прежнего и настоящего, рисковал карьерой и жизнью, толкая тебя во мглу и спасая так от ареста и быть может скорой смерти. А ты угрозы смерти испугался. Всё верно, пытаться пробуждать в молодых людях личность, совесть и самосознание, свободу и подлинное мышление, сознание смерти и ответственности перед ней, подвигать их на путь, который называется быть самим собой, побуждать их быть людьми, как бы тяжело, мучительно и трагично это ни было – благородно и очень важно. А как же быть с тем, что сам ты дрогнул и не подтвердил того, что пытаешься пробуждать в них, бодрствующего в тебе с лет, возможно еще более ранних? Ты изменил себе, поддался страху и не сделал того, что должен, пусть

даже в тот момент не сознавал ясно, но точно где-то в глубине души ощущал как должное. Плативший в жизни за верность должному немало, самого главного в наставший момент заплатить не смог, не нашел в себе решимости и мужества. Ты лично – остался человеком в этой ситуации, не предал в себе то, что человечно, самого себя не предал? Ты и есть такой же Шлётц, страхом предавший себя и всё подлинное в себе, целую жизнь взращивавшееся. Что теперь тебе сделать, чтобы искупить грех трусости и суметь простить себя, вернуть к самому себе уважение? Он попал во власть страха перед смертью, предал в этом достоинство и долг совести, унизил себя, оказался трусом там, где долгие годы знакомые ему и уважаемые, даже искренне любимые люди, проявили мужество и стойкость перед лицом судьбы. Он предал истину борьбы со смертью, приготовления к смерти и мужественной, достойной встрече с ней, которая двигала им и его жизнью с юности, с таких ранних лет осознания себя. И он с еще большим испугом и даже быть может ужасом чувствовал, что власть страха, многократно раздавленного им в течение жизни, ведшего себя вполне пристойно все месяцы оккупации, но почему-то целиком подчинившего его в тот вечер, при прямой опасности смерти и расправы, встречи с судьбой, однажды может довести его черт знает до чего. Такова была голая правда, и делать с этим было нечего – он пал, растоптал и предал, унизил себя властью страха. Всё это мучило, сжигало, терзало Войцеха и изо дня в день, невзирая на все несчастья и тяготы, не давало ему покоя, не позволяло простить себя и собственный страх, обрести умиротворение внутри. Работа уже не могла послужить спасением – ее не было, во всех смыслах. Единственным спасением была близость Магдалены и возможность как-то послужить ей. И когда он надевал на нее утром в постели тулуп, кутал ей в теплые войлочные тапки ноги, грел ей на изразцах грелку, чтобы не закоченели руки и она могла играть на концертах и заниматься, он чувствовал, что еще должен пожить и имеет на это хоть какое-то последнее право…

Он чувствовал и другое – что любовь к нему губит Магдалену. С одной стороны – сейчас нет ни одного человека в Польше, у которого в жизни и судьбе всё хорошо и удачно, и светлая дорога надежд, свершений и возможностей впереди… Конечно, если ты хоть мало-мальски порядочный человек, а не скот, готовый что угодно делать, лишь бы им прислуживать. Кому сейчас в Польше сладко, да и может ли быть? А с другой…

В тот вечер, 6 ноября 1939 года, двадцать три дня назад, всё окончательно рухнуло. Да, сбежав с пути, которым прошли его коллеги, зайцем драпав по темноте университетского двора и крышам, он избегнул их участи – ареста, заключения в концлагере, быть может смерти. Однако – в списках профессоров, подлежащих аресту, которые составило «гестапо», он был и участь его всё равно должна была быть такой. Некоторые из тех, кто не сбежали, как он, с предполагавшейся «лекции», а по объективным причинам не пришли и находились дома, в тот же вечер всё равно были арестованы. Он и здесь счастливо избежал судьбы – почти никто не знал, что после утраты квартиры и дома он живет у Магдалены, своего нового адреса он официально в университетское управление кадрами и штатом не сообщил, вплоть до того, что за несколько дней перед событием получил предложение комнаты в общежитии для преподавателей. В те часы, когда он, плохо помня себя, как-то добежал переулками через Старый Город в единственное наверное место, где можно было избежать встречи с патрульными – аббатство и Собор Святой Катаржины, забился в угол скамьи в одной из молельных зал и вскоре заснул, его, виновного в звании профессора Ягеллонского университета, скорее всего искали, да вот не знали только где найти. И не нашли.

Очнулся он утром, продрогший и почти заболевший, отогрелся кое-как только борщем, галушками и чашкой кофе в столовой для неимущих, после утренней мессы. До припадка боялся выйти на улицу, в город, после – всё же нашел в себе силы и пошел. Очень боялся, ведь находился метрах в шестистах от Вольной Площади и квартиры, в квартале, где был знаком многим. Из разговоров на улицах понял, что двери Университета были утром закрыты.

Купил газету и из нее узнал все новости. Ясные и страшные. Что все его коллеги арестованы (он один, усмехнулся он мысленно, оказался исключением, да еще две женщины, демонстративно отпущенные). Что Ягеллонского университета, как в общем и остальных университетов Польши, более нет. Польша предполагалась бесноватым ублюдком с сотоварищами чем-то наподобие «турецких галер» или многомиллионного, ради удобства и покорности раздробленного муравейника, служащего сырьевым и трудовым придатком для Тысячелетнего Рейха. Высшее образование, способное развивать личность, раскрыть возможности человека и привить какое-то национальное самосознание, было конечно не нужно – необходимы были покорные, обреченные на вырождение рабы, призванные быть не уничтоженными физически, но стертыми как нация. Не нужно было, как выяснялось, даже и среднее образование, а значит – его планы на Польшу и поляков очевидны. Он вспомнил речь бесноватого в Рейхстаге, всего два с небольшим месяца перед этим, в первый, страшный день войны и вторжения. О, как же тот силился тогда блюсти фасон, обосновывать «справедливость» агрессии, подчеркнуто избегал слова «война» и стремился представить события лишь как карательную «полицейскую акцию» и «принуждение Польши к миру»! Как мало времени прошло, но вот – он снимает все маски и совершенно откровенно заявляет, и даже не лозунгами, а именно продуманной политикой, о своих истинных целях, точнее – о тех безумных иллюзиях, которые кажутся ему целями. Оно и к лучшему – теперь всё открыто и предельно ясно. И нет самой главной иллюзии – что у него и его безумия, у внявшей его безумным планам и фантазиям страны, есть какое-то будущее, как бы глаза не пытались убедить в обратном. Они обречены, рано или поздно, вопрос лишь в том, что должны будут пройти Европа, Польша и мир до тех пор, пока стадо взбесившихся свиней не рухнет в бездну… «Судя по событиям вокруг – путь не близкий и тернистый» – подумал он тогда с иронией и горечью – «и навряд ли до этих счастливых дней дожить». Всё это он думал и переживал внутри на скамейке в аллее, по улице Дитля. Смятое пальто, как и брюки, вымазанное в меле и грязи, опухшее лицо, красные от холода и невысыпания глаза – он более походил на бездомного пьянчужку, нежели на не арестованного по недосмотру «гестапо» профессора университета, и чувствовал себя на удивление спокойно, не способным вызвать у патрульных какой-либо интерес. «О, боже» – подумал он тогда – «какое же это счастье, когда тебя будто бы нет в мире и никому ты не нужен, не интересен и неизвестен». Он рискнул и пошел на квартиру к родителям Магдалены, на Гродскую. Он должен был как-то попытаться найти и увидеть ее, в любом случае. Она была там, красная от слез, полубезумная от страха и переживаний. Вскочив от постели больной матери, пани Марии, она молча бросилась к нему на шею, обняла руками лицо и с трудом доставая и дотягиваясь, просто целовала ему лицо, долго, словно впав в какой-то припадок. Отец ее, пан Юзеф, стоял и смотрел молча. «Моя дочь не виновата в том» – сказал он спокойно через какое-то время – «что по настоящему полюбила одного из тех достойных людей, которым нынче так трудно жить». Это была его дочь, умница, талантливая пианистка и красавица, которая могла бы найти себе самую лучшую пару с кем-то из поляков, а не с «юде», как теперь пишут желтой краской на стеклах, быть во всех сложившихся обстоятельствах максимально обустроенной и защищенной – как может ее отец не думать об этом, не желать ей этого? Свое решение пан Юзеф провозгласил – такая судьба, ничего не попишешь, да будет так. Они с Войцехом молча и понимающе, чуть ли не со слезами обнялись, хотя он именно в тот момент ощутил себя трусом и мразью, раздавленным червем на асфальте, чуть ли не последним из тех, кто имеет право быть названным словом «достойный», право на чью-то любовь и самоотверженность.

Однако – надо было что-то делать. Ведь всё рухнуло, на сей раз – окончательно. Более не было ничего – Университета, работы, профессорского статуса и профессорской зарплаты, дачи и квартиры, ничего. В сорок лет он был бездомным и безработным, с остатками мелочи в кармане и гонорарных денег на банковском счету, если счета евреев не будут арестовываться, к чему всё шло. Были еще несколько золотых перстней, которые можно продать и протянуть

какое-то время… Теоретически – он мог зарабатывать уроками, но не в Кракове, где он известен если не каждому второму, то уж точно каждому третьему. Возможно – всё придет в большую или меньшую норму через какое-то время, когда исчезнет опасность ареста. Это – если о нем и его бегстве от уготованной участи, обреченной быть в любом случае гораздо худшей, нежели у остальных, по какой-то причине забудут. И если не усилятся гонения на евреев, к чему тоже всё шло. А что делать пока и кто знает, сколько это может продлиться? Возвращаться в квартиру Магдалены в Клепаже им вдвоем было опасно. Он видел простое решение – попытаться податься в бега. Он становится опасным спутником, отношения с ним несут одно лишь горе, ничего – он как-то выживет, он не мальчик. Она была категорически против и ни при каких обстоятельствах не соглашалась отказаться быть с ним рядом. К тому же – она, в сложившихся обстоятельствах, была на удивление более или менее нормально устроена. Дело в том, что они конечно же любили музыку, фортепианную музыку. Филармония работала вовсю – для них, фортепианные концерты давались во всех больших ресторанах на Рыночной площади, на Гродской и Флорианской, работал для них и театр. Часовые концерты Магдалены с программой немецких романтиков – скажем, бетховенская, шумановская или шубертовская соната, несколько их же или шопеновских небольших пьес – проходили под гром аплодисментов и имели небывалый успех. За октябрь она трижды исполняла бетховенский «Император» с оркестром филармонии, для высшего руководства и офицерского состава генерал- губернаторства. Он думал в течение всего октября, что если бы она была безнравственным прагматиком, то поработав немного с присылаемыми из Рейха дирижерами и при ее красоте, вполне могла бы завязать связи на самом верху и невзирая на войну и весь мир «вверх тормашками», сделать себе блестящую музыкальную карьеру, не потерять таких важных для этой карьеры лет. Однако – могло ли это всё как-то быть относимо к ней?..

Остаться в Кракове. А где жить? Да и невозможно это, конечно, по всем причинам, равнозначно скорой и верной гибели. Где скроется он, сбежавший от ареста и карательной акции еврей-профессор в городе, в котором прожил всю жизнь и знаком черт знает какому количеству людей? Значит – возле Кракова, в какой-нибудь из деревенек, где они не будут кому-то интересны. Она представляет себе, что такое жить в деревенском доме, без проточной воды в кране? В его доме они не жили, а наслаждались романтикой и счастьем любви. Ответ – ничего, «не боги горшки лепят». Он отрастит бороду, внешне на еврея совсем не похож, они поселятся как пара, бежавшая откуда-то из Западной Польши, потому что сам он будет вызывать подозрение и закончит в конечном итоге в концентрационном лагере. Она – будет для всех учителем музыки, а в Краков будет ездить играть концерты, он же будет давать уроки по истории или языкам. Она в этих обстоятельствах неплохо устроена, они сумеют продержаться, к тому же – ее любит кардинал Сапега, она уже трижды играла кардиналу на домашних концертах, и если не дай бог всё же его схватят из-за его профессорства или его будут ждать беды как еврея, она сможет его защитить (в другой ситуации он при этих словах засмеялся бы от нежности и умиления, а сейчас, от стыда и от ярости готов одновременно завыть и зарычать). Он ладно, такая судьба, но почему она должна скрываться, вместе с ним в ужасных условиях мытарствовать и прозябать – она, могущая валить на колени толпы ухажеров из числа «колбасников» или хорошо обеспеченных и уже успевших устроиться, понять что к чему прихвостней-поляков, каждый день ходить в роскошном платье, пить шампанское и есть устриц? Потому что она его любит – это произносилось просто, спокойно, и совершенно обезоруживало. Да и вообще – он, зная ее, представляет ее судьбу такой, сам себе в этом верит? Он конечно не верил, но не сдавался. Он не хотел, протестовал и убеждал, даже когда уже пани Мария и пан Юзеф сказали, что согласны и считают это на какое-то время выходом, но так в конечном итоге и сталось. Они уже три недели живут в Тарнове, в деревенском доме на ближней к Кракову окраине. Их считают парой беженцев из Голенёва – городка на самой границе с Германией, в той части Польши, которая была объявлена территорией Рейха и где

полякам становится жить всё нестерпимей и опасней. Все их уважают за это, вообще – как правило испытывают к ним симпатию. Обретавшего известность профессора философии Войцеха Житковски, автора книг и блестящего лектора больше нет – есть добрый и здоровенный мужик с окладистой польской бородой, приятель своим соседям и на руках носящий молодую жену, учитель истории. Он и дает уроки истории соседским детям, тем и зарабатывает, имея возможность не прикасаться к самому последнему – перстням, чудом снятым со счета деньгам. Дом – дрянь: промозгло холодный, сколько не топи, добираться до Кракова тяжело, но она не жалуется, а ему в Кракове итак лучше конечно не появляться. Всё вроде бы утрясается и возникает ощущение, что какое-то время они и вправду смогут так продержаться, а то, что придется не жить, но временить, он понял давно, еще 6 сентября, когда видел льющиеся по улице Дитля, кажущиеся бесконечными колонны немецких мотоциклов, броневиков, грузовиков с солдатами, офицерских «опелей» и «мерседесов» и так далее… А может и раньше, 1-го, когда сидел возле Флорианских ворот и подмечал для себя изменения, которые на глазах привносили в действительность и жизнь самые первые часы войны… И самое главное, она оказалась права и словно угадала своим женским нутром и чутьем: с 18 ноября все евреи Кракова носят на рукаве отличительную бело-голубую повязку, а если еврей откажется ее одевать – кончит плохо. Так что в Кракове ему было бы не скрыться и не продержаться, и сейчас тоже конечно уже туда хода нет. И выходит – она, своей любовью и каким-то последним, никогда до конца непонятным женским чутьем спасла его, и благодаря ей он пока еще жив. Впрочем, так же плохо он может кончить сейчас и в Тарнове – городке, где испокон веков полно евреев. Потому что с послезавтрашнего дня эту повязку евреи под страхом смерти или заключения в концлагере обязаны носить по всей территории генерал-губернаторства. Но в Тарнове они живут именно на польской окраине, никто его здесь не знает – ни поляки, ни евреи. В Тарнове нет никакого профессора философии Житковски – есть поляк Войцуш, бежавший с запада Польши с любимой молодой женой, которую готов носить на руках, добряк и отличный сосед. И пока не случится чего-то особенного или кто-нибудь не увидит его в бане, можно пытаться рисковать и держаться. Он иногда понимает, как рискует. Но это уже начало становиться привычным, превратилось в нечто повседневное, постоянно присутствующее в жизни, в рефлекс, и потому пугает и вызывает беспокойство гораздо менее, чем казалось возможным. Страх – проникающий тонким, струящимся холодом в самую глубину живота, он начинает испытывать, когда понимает, как рискует она. И рискует в общем-то из-за такой чепухи, как напрасно бегущий от судьбы, громадного роста неудачник и страдалец, глупой и не имеющей оснований любви к нему, от которой она должна отказаться. Она не имеет права быть настолько жертвенной в любви, тем более – сегодня. Женщина должна уметь быть прагматичной, обязана думать о собственной судьбе и способности мужчины такую судьбу ей создать, иначе ей не выжить – в сотворенном глумливой издевкой мире, в аду абсурда и безумия, которым этот мир стал сегодня, во власти условностей ее природы, самого ее пола. Факт остается фактом – даже и с этой точки зрения ее любовь и жертвы спасли его, создали ему ту легенду, под прикрытием и в рамках которой он единственно может еще пока выживать. Однако – когда он смотрит на нее, королеву со старинных портретов, втиснувшую себя в деревенское убожество, талантливейшую пианистку, коченеющую в вечно холодном доме и ничем не могущую согреть пальцы, он хочет выть и часто делает это беззвучно, зайдя по какому-то поводу сарай, сцепив зубы и плотно притворив дверь. И то, что она всё это делает из любви к нему и из-за того, что он ей дорог, не радует его, не заставляет в глубине души этим чваниться, а рождает у него яростную и иступленную, до желания выть или рычать ненависть к самому себе. Он ее губит, любовь к нему ее губит. Он виноват в том, что он вообще есть, что смел прийти в ее жизнь, позволил этому случиться. О боже, но ведь всё это не должно было быть так, могло и должно было быть совсем иначе! Он мог и планировал подарить ей совершенно другую жизнь, он просто не успел и в этом нет его вины – началась война!! В ту ночь 1 сентября, когда она стала его,

он был известным в академической среде исследователем, профессором, автором книг и обладателем гонораров, легендарным и любимым студентами лектором, наконец – ее руководителем, помогавшим ей раскрыть еще один огромный талант! В конечном итоге – не молодым и не самым веселым, но тоже одаренным и состоятельным человеком, который мог многое дать ей, стремился и планировал это! Ну, и что? Вот, прошли три месяца и он – скитающийся безработный увалень, из-за которого любимая женщина мерзнет руками и ногами, подлежащий аресту беглец, невольно подвергающий риску и ее, и всё это так просто потому, что он есть и она его любит. Он губит ее просто тем, что он есть, ее любовью к нему, он желает иного, но ничего не может поделать. И когда он как сейчас понимает это, упирает в грудь свежеотращенную бороду, готов рычать от ярости и ненависти к себе или повеситься на перекладине в сарае. И как жить, что делать?..

Эти вопросы и дилеммы изо дня в день терзают его, разрывают ему душу и грудь, сжигают его изнутри… Он потому старается больше чисто практически заботиться о Магде, сколько дано его силам, в сложившихся обстоятельствах и в этом убогом доме, а не говорить с ней откровенно и глубоко, как привычно было у них до всех событий – чтобы не выдать терзающих переживаний и мыслей. Ей и без этого тяжело во взваленной попытке его спасать, хватает. Счастье просто обогреть ее, потом хорошо накормить, словно дочь она ему, но не любимая женщина, которая должна была пройти с ним по оставшимся метрам пути рядом, отправить в Краков, если нужно ей туда ехать, а нет – насладиться одним ее присутствием и помолчать, серьезных разговоров и тем, в которых ад чувств и мыслей, переживания настоящего непременно выльется, только позволь, он старается мягко, аккуратно избегать. Во имя нее и их обоих. Точнее – они оба обходят это стороной, по умолчанию и словно всё поняв, стараются крепко обсуждать лишь самое насущное – порядок дел, прямые опасности, которых слава богу пока немного, доходящие из разных источников и важные новости. Им тепло, близко и хорошо рядом даже в молчании, преимущественно в молчании, хотя раньше они горели близостью общения и счастьем, экстазом разделенности в нем. И посреди тонущего в аду, безумии и мраке мира, переполняющих их судьбу перипетий, это спасительно и ценнее всего. Однако – стоит ему лишь найти мужество и пристально вглядеться в настоящее, во всё, происходящее в судьбе окружающего мира и его собственной, теперь уже с глобальным куговоротом вещей неразрывной, приходящее осознание точно так же разрывает его, заставляет испытать муку и ужас. Он помнит тот ужас перед бездной неизвестности, наиболее практической и конкретной, затрагивающей каждый час, внезапно разверзшейся во мгле и туманности самого ближайшего будущего и в еще вчера казавшейся надежной, налаженной и незыблемой в ее обстоятельствах жизни, который настиг его в первый день… Помнит это ощущение на глазах настигающей и разверзающейся катастрофы, уходящей из под ног почвы, окутывающий его ужас и страх… Помнит, как чтобы хоть немного понять, стройно уложить в уме происходящее и захлестнувшие волной переживания, попытаться умом и волей справиться с ними, понесся на машине к высотке возле деревни Величка, куда всегда приезжал так или эдак, если хотел побыть наедине с собой и мыслями, обнаруженной и облюбованной за многие годы до этого, случаем. И помнит, как в ощущении наступающей, очень ясно осознаваемой катастрофы и идущих с ней, вырисовывающихся мглою бед увидел – любовь к Магдалене и Польше, неразрывная и словно кожей и костьми сращенность со страной, где его предки, великие раввины или просто благочестивые и ученые евреи жили более шести веков, есть две единственные и более-менее надежные точки опоры. То единственное, с чем связано хоть какое-то чувство уверенности. Остальное – мгла разверзающейся и воцаряющейся на глазах, с каждой минутой неизвестности, крах лишь пару часов назад цветущей, надежной и обещавшей счастье любви жизни, уползающая в бездну из под ног зыбь обстоятельств, которые казались прочными. Поди знай, что случится и грядет – наползавшая мгла неизвестности и катастрофы вызывала ужас, казалась бесконечной, но его судьба и жизнь

стали сращены с судьбой другого человека, а судьбы их обоих намертво связаны с этой страной, без которой помыслить себя нельзя. И посреди рушащейся на глазах, привычной жизни, что бы не ожидало, это казалось незыблемым… Так он тогда думал и чувствовал, стремясь приободриться душой и невольно это делая… И помнит, что на пару часов, тонущих в полной обаяния и пахучей, вовсе не пугающей, а напротив – дарующей благо темноте вечера, даже сумел успокоиться и вселить в душу капельки оптимизма и надежды. День, который начинался привычным, радостным и давно запланированным, даже чуть рутинным порядком дел, предвкушением творческой работы, должной многое подарить и развернуться вовсю, счастьем так чудесно, таинственно и правдиво обретенного слияния с любимой женщиной, полного и похожего на сон или поэтичное безумие, сменившего долгие годы одиночества и обещавшего сопровождать его жизнь до конца дней, в несколько считанных мгновений обернулся катастрофой и крахом всего – обстоятельств, судьбы… планов и надежд… Такой крах происходил буквально на глазах, с доносящимися сводками радионовостей, был очевиден и в разрывающих предчувствиях и мыслях, но неумолимая логика наступающего, еще полного иллюзии безопасности и надежности обстоятельств вечера, грядущего покоя и сна, вселяла надежду и желание забыться в ней, дарила ощущение, что утром все совершающиеся события развеются, подобно кошмару, словно и не было их. А нависавшее опасностью и катастрофой окажется химерой, ложным страхом, не изменит судеб, привычной и глядящей в будущее жизни, планов и надежд. Однако ныне, когда Магдалена уезжает, а он находит мужество и глядит во всё же пришедший и прочно воцарившийся кошмар, им целиком овладевает ужас и ад ощущения полной безнадежности, ибо он ясно понимает, на что обречен в происходящих и обещающих стать лишь хуже событиях, ни края которых, ни предела вдохновляющего их безумия различить не дано… И в эти мгновения, которые бывают и утром, пока она спит, а печь с грязно-салатового цвета изразцами делает свое дело, когда он понимает, что ожидает его во всем вообразимом и обозримом уму будущем, отчаяние и нравственная мука, ужас и чувство безысходности таковы, что он готов утопить бороду в груди и яростно, с наползающими слезами засопеть или зарычать, грозя разбудить ее, выпуская так ненависть к жизни и миру, судьбе, самому себе. Всё рухнуло – созданное борьбой, трудом и жертвенными усилиями двух десятков лет, вереницей решений и тяжких, казавшихся непосильными испытаний. Более нет легендарного и «неистового» профессора, автора книг и горящего творчеством и вдохновением мысли человека, привыкшего яростно отстаивать и утверждать себя, заставлять уважать себя и то что, для него незыблемо и свято. И этим, наверное – достойными, исключительными и могучими человеческими чертами, способного по праву вызвать любовь, привлечь к себе нравственно чистого и глубокого сутью человека, каким оказалась его Магда… Более нет состоятельного и обретающего серьезное влияние человека, который познал чудо, кажущееся чем-то невероятным таинство не просто любви, встречи вправду близкой ему женщины, а взаимности и слияния, сращенности жизней, судеб и душ, на что, как он считал и был почти уверен, права и надежд не имел. И конечно – способного и желающего поэтому подарить любимой женщине счастье, всё благо, которое только возможно: не одной их взаимной близостью и искренностью, а очень многими конкретными вещами, готовностью каждым поступком словно бы носить ее на руках, окутывать любовью, переполняющей его бычье и наверное от возраста сентиментальное сердце, его могучую грудь человека, который подчас заслонял проем неоготических дверей и истовой натурой, яростью в делах и мысли, отношениях с людьми и верности святым для него вещам, напоминал польского пана из легендарных времен, сам стал легендой. Всего этого более не было. Был бездомный и безработный беглец, которому невесть какое время предстояло скрываться, обременяя и подвергая опасности эту любимую больше жизни женщину, с весьма небольшими шансами в конце концов выжить. Был не просто сбежавший от ареста профессор, которому грозило вот-вот остаться без гроша, посреди обещающего концлагерь или вообще смерть мира,

в почти полной беспомощности и безнадежности обстоятельств. Был еще еврей, на которого, как всё говорило об этом, в ближайшее время должны обрушиться самые невообразимые беды, и если участь его арестованных тем вечером коллег позволяла питать хоть какую-то надежду, то его – нет. Был еврей, близость которому всё более грозила серьезной опасностью любому, на это осмелившемуся или обреченному судьбой, любовью и человечностью собственной души. Был обрастающий густой бородой, враз обмякший душой и постаревший не только видом, но и сутью человек, которого на всё мыслимое и обозримое время ждали бессмыслица, пустота и невозможность творчески работать, разные унижения и бесконечные, неизвестно что способные принести мытарства, в которых не дано было догадаться, чем окажешься и станешь, с кем будешь вынужден делить жизнь… да и сумеешь ли выстоять и выжить вообще. Так это им виделось и ощущалось. Он привык жить борясь, с самой ранней молодости, почти с юности только так и жил, одной борьбой выживал, созидал жизнь и судьбу, раскрывал талант, утверждал себя и обретал свободу, право на незыблемые, неотделимые от себя и собственной жизни, святые вещи, с предательством которых она утрачивает смысл. Однако, он глядел ныне в суть сложившейся в его жизни и судьбе ситуации, и с безжалостной ясностью понимал – она безнадежна, а обещающие лишь стать хуже обстоятельства непреодолимы, бороться с ними скорее всего не дано или попросту напрасно. Бороться было очевидно или же скорее всего бессмысленно, а потому, хоть он и решил пытаться бороться и выжить – сколько будет дано судьбой и хватит сил, и пока так и делал, требовал от себя этого в мыслях, но сознание безнадежности и напрасности борьбы, он чувствовал, побуждает опускать руки, сил для этого лишает. Перед лицом наставших, воцарившихся и еще только грядущих обстоятельств он, как и привык всю жизнь, был совершенно сам, ждать помощи и поддержки он мог только от словно кошка, до самопожертвования любящей его Магды, что всё более становилось для него неприемлемым и распаляло ненависть к самому себе, и без того сильную и клокочущую в нем из-за событий вечера в университетском дворе. Обстоятельства были таковы, что он был лишен в них каких-то практических возможностей, которые могли бы послужить точкой опоры и источником надежды, позволили бы бороться и собрать еще оставшиеся для этого, быть может и немалые, поди знай, силы… Ведь не дано, не дано человеку знать, какие силы таятся в нем и раскроются в борьбе, лишь решись он в нее броситься, собственно – раскрываются только в ярости борьбы и схватки с судьбой, внезапно оказываются бесконечными… Судьба коллег на этот момент была страшна, а в будущем – неизвестна и покрыта мраком, и рассчитывать на помощь в когда-либо, в обозримой перспективе возобновленной связи с ними, он не мог. Да и род его, ныне обрекающий на неведомые муки и грозящий опасностью ему самому и любому, к нему близкому, навряд ли позволил бы профессорам и доцентам, с которыми он прошел многие годы по одним коридорам, ему помочь. А броситься просить помощи к некогда отвергнутой им и проклявшей его общине он не мог именно потому, что был подлежавшим аресту и заключению в концлагере польским профессором, которому «новые хозяева», в отличие пока от остальных, точно не простят, попадись он, ни его еврейства, ни конечно же бегства от уготованной судьбы. Попасться же несомненно было делом лишь самого короткого времени. Это не давало возможности попытаться скрываться среди «своих», которые еще в самом начале пути стали ему непреодолимо и бесспорно чужими – в любом ином случае он быть может осмелился бы. В Кракове он не мог попытаться скрыться и выжить ни среди «своих», всё более гонимых и обреченных на безумные издевательства, ни в той среде, с которой по настоящему за долгие годы срослась его жизнь – участь людей оттуда была ныне еще худшей. С немецкой оккупацией наверное любому человеку в Польше стало опасно и худо, но ему, смеялся он в мыслях с отчаянием, как и повелось в его судьбе смолоду, выпало пропасть кажется со всех сторон и наверняка. Он был «вне закона» – так или эдак, по самой сути его сложившегося положения, каким бы кошмарным этот закон не становился день ото дня. И рассчитывать на милосердие судьбы и обстоятельств, на какое-либо улучшение

или облегчение ситуации конечно не приходилось. И трезвый взгляд в настоящее, когда он на тот осмеливался, всё это, вместе с мизерными и ужасными перспективами, безжалостно ему приоткрывал. Судьба была такова и против нее, как всё чаще и сильнее начинал он чувствовать, наверное не пойдешь. Да, перед лицом могучих и трагических обстоятельств, пляской которых хоть и внезапно, но всё же очень предсказуемо и прочувствовано, неотвратимо стали жизнь и мир, это ощущают сегодня наверное очень многие… Правда – сегодня как никогда мир, судьба и обстоятельства кажутся древним всевластным Роком, громадной нависшей скалой, непременно должной погубить, с которой ничего поделать нельзя, а остается лишь смириться с тем, что неотвратимо… И очень многим приходит в душу наверное это чувство – перестать трепыхаться и покориться судьбе и власти обстоятельств, дать тем сделать их черное дело, так обрести покой и последнее достоинство… Судьба его, единственно возможная и на всё обозримое время была скитаться, скрываться в бегах. И судьба эта была жутка, ибо помимо всего остального, что означала, скрываться он мог либо с помощью Магды, принимая от нее жертву и обрекая ее на опасность и разнообразные муки, наверняка – не слишком долго, либо решившись уйти в полную и самую последнюю неизвестность, целиком отдавшись той во власть и приготовившись принять посланное дорогой. А в этом, последнем, да и вообще в сложившемся положении вещей, возможности его были минимальны и предстояло скорее всего пропасть. И хоть такова была правда, он всё беспрекословнее чувствовал – именно это он должен сделать. Лишь с мизером возможностей и средств, но с огромной телегой опасностей в хомуте судьбы, ему оставалось броситься уже в самую последнюю неизвестность жизни и обстоятельств – в просторы родной страны и ее городов и весей, на которых он был бездомен и почти нищ, наверняка разыскиваем и обречен попасться, даже близко не представляя, какую лазейку и дорогу быть может сумеет отыскать, да и сумеет ли вообще, не окажется ли заложником чего-то жуткого. Но даже если бы он решился, шансов выбраться и выжить, реальных для этого возможностей у него почти не было, привычная для него всю жизнь борьба была бы скорее всего напрасной, перед лицом вероятного и грядущего – безнадежной. Возможности его, практические и по сути, были до последнего ограничены, и это волей и не волей, он чувствовал, отнимало силы и решимость, повергало в бездну отчаяния, которое он старался сколько дано скрывать. Такова была его ситуация, фактическая и реальная, скорее всего необоримая. И когда он глядел ей в лицо, с безжалостной трезвостью понимал ее суть и всё неотвратимо грядущее – испытывал ужас и такое ощущение отчаяния, которого за всю жизнь перед этим наверное не знал. И ощущение безысходности почему-то не не дарило покой и отчаяния не гасило. Пока всё было более-менее нормально, но скорый крах этой иллюзии он предчувствовал и почти ясно видел. И вот – во всем этом и скорее всего в обреченности на скорую гибель, у него оставалась пока только Магда и любовь к ней, та вторая точка опоры, которую он прояснил для себя тогда, в первый и страшный день, вдыхая на лесистом холме сонм запахов и влагу, словно не веря, что за благом картины вокруг где-то уже очень близко, но просто еще не слышно, шагает жуткой и неумолимой поступью катастрофа. И выживать пока он мог только ее, вправду словно ангельская длань хранившей и спасавшей его любовью… «Решиться» означало разорвать их живую, дышащую любовью связь, что было в равной степени неприемлемо и очень тяжело им обоим, казалось невозможным. И вот это было самым жутким, наиболее разрывавшим его душу муками. Он нравственно жив сегодня только близостью к ней и возможностью немного о ней заботиться, хотя как эта чепуха может перекрыть жертву, которую во имя любви к нему, даря ему укрытие и спасение, приносит она?! Но он ее губит. Любовью к ней и правом любить до самозабвения, жертвы, множества мук и опасностей его. Он не имеет права быть рядом с ней, позволить им быть вместе, хотя соединило их в мгновении счастья, а потом в нагрянувших испытаниях и бедах настоящее, искреннее и человечное чувство, которое единственно только и можно назвать «любовь». При мыслях об этом, всё более частых, его разрывает, словно сжигает в пепел такая боль, что он

словно ребенок готов завыть и лишь удивляется, как ему удается сохранять выдержку и просто казаться Магде ушедшим в себя. Он был уверен, что проживя в одиночестве самые важные, дышащие силами и энергией годы, обречен пройти так и всё, что еще отпущено. Просто привыкши к одиночеству, сжившись с с ним как судьбой. Утратив надежду, что встретит женщину, правдой и красотой ее сути способную вызвать в нем чувство любви, желание связать с ней судьбу, само ощущение, что это возможно. В сорок лет, начинающий седеть и становиться обрюзгшим, но кажется лишь входящий в расцвет таланта и сил, огнем горящей мысли, его легендарной ярости в жизни, целях и творчестве, долгие годы проживший сам, но не перестававший быть кумиром студентов, любимым и ненавидимым, часто вызывающим страх, но неизменно уважаемым, он встретил, полюбил и обрел взаимность с такой правдой, что мир словно бы должен был содрогнуться. Он встретил и полюбил такое человеческое чудо, что ни на протяжении месяцев, за которые любовь могучей силой прорвалась в их душах и судьбах, ни даже в те капли полного и еще безмятежного счастья, которыми была их первая ночь любви, он не мог поверить и всё казалось – сладко спит и обречен испытать горечь и шок пробуждения. И иногда, преодолевая суеверный страх, он всё же решался сказать себе, что мужеством одиночества и борьбы в испытания, нравственной чистотой души, которую в них и море житейских соблазнов сумел сурово и властно сохранить, трудом над собой заслужил это, имеет право обрести счастье близости, слитности целиком, телом и умом, душой и судьбой, множеством мгновений жизни с женщиной, в чуде и существе которой словно сгорает, дорогой ему то ли до трепета и сладостного дрожания сердца, то ли до почти детских, сентиментальных слез. И на какой-то момент, длившийся наверное лишь пару туманных утренних мгновений, он даже поверил, что встреча и близость, обретение и правда любви, сращенность с ней до конца и всем, что только у него было, пришли в его судьбу и жизнь прочно, навсегда, сколько еще осталось ему пробыть под неласковым солнцем. И он, с юности ощущавший, что неизменно и шаг за шагом торжествует в бесконечной борьбе над судьбой, словно специально и глумливой издевкой желающей погубить его, вопреки ей и року обстоятельств обретает свободу, путь, талант и плоды свершений, уважение и признание, даже на миг подумал, что и в в этом сумел победить ее, проклятую, помимо бескрайней вереницы испытаний и мук, решившую стать еще и одиночеством. Победил случившейся правдой встречи и любви, обретения близости, загоревшейся в ответ взаимности… И вот – ото дня ко дню совесть, чувство долга и ответственности за ее судьбу, разум и сама его любовь всё яснее, неумолимее и безжалостнее говорили ему, что он обязан найти силы и мужество, но разорвать их связь… Именно из любви. Во имя действительно любимой женщины, которой он планировал служить делами, пером критика, острым умом и опытом философа, чуть ли не каждым днем жизни, а ныне может лишь пытаться согреть ее, по его же вине коченеющую в старом и дрянном доме, вынужденную подвергать опасность жизнь, судьбу и талант, все дарованные ей возможности. Он любит ее, живое человеческое чудо, полное живописной и невероятной красоты облика, но еще более – красоты души и ума, сути, порывов и чувств, обещающее оставаться вечной и бесконечной загадкой, которой бы только сжигая себя жить. Всю жизнь он горел – болью разума, любовью к жизни, волей к свободе и истине, жертвенным накалом творчества и жаждой нравственной чистоты, яростной верностью этому и многому иному, привык всем человечным в нем страдать, парадоксально будучи в этом самим собой и счастливым. С юных лет быть человеком стало значить для него страдать, гореть болью на алтаре любви, разума и совести, привязанностей и святых вещей, которым должно пусть даже страшной ценой быть верным. Оттого он так презирал и часто даже с гневом ненавидел костлявую, химеричную мудрость Сенеки – лживую и утлую мудрость отказа от каких-либо привязанностей во вне, от чего-то ценного, кроме покоя и владения собой в испытаниях судьбы, вопреки этому считал должным гибнуть и сгорать, страдать на алтаре того, что ценишь и ощущаешь незыблемо верным и должным. И встретив Магду, он точно также, даже помимо воли, самоуговоров и сомнений,

почувствовал могучее желание сгорать любовью к ней, жизнью ею и ее душой, талантом, судьбой. И вот – он обречен ныне обрекать ее на муки и серьезную опасность. Он любит ее, готов взвыть от мысли, что может потерять близость с ней. Это будет значить для него тоже, что убить в его нынешней ситуации последнее, как-то дающее нравственно держаться и имеющее ценность. И он чувствует, что не имеет права ее любить, точнее – оставаться рядом, неся этим не заботу и помощь, возможность дарить благо и надежду, а опасность и тяжкие испытания. И всё с большей болью понимает, что у него просто нет другого выхода и это он должен по совести, от самой любви к ней и того трепета в душе, мучительного, но не знающего снисхождения сознания ответственности за ее судьбу, которые любовь в нем порождает. И вот – судьбе, с которой он яростно сшибался в борьбе всю его жизнь и умудрялся торжествовать, всякий раз по новому отстоять право быть самим собой и сохранить верность святому для себя и незыблемому, лишившей его пути, дома, нажитого и созданного, всего завоеванного и в тяжком труде добытого, обрекшей его на щелкнувшую пока зубами смерть и скитания, удалось победить его в последнем – отобрать у него право на любовь, поставить его перед долгом во имя любви и будучи движимым ею, предать и потерять любовь. И безжалостно видя это, растоптанный и почти поверженный во прах, обреченный вновь на бесконечность мук и испытаний, он готов из-за этого чуть ли не с детской обидой разрыдаться, ибо не понимает, почему в его судьбе с юных лет всё так по настоящему, но так вместе с тем страшно и полно боли, утрат, разочарований и катастроф, грозящих гибелью испытаний и поворотов, выжить в которых позволила лишь борьба и бесконечность нравственных сил. Отчего этого не знают большая часть известных ему за жизнь, пусть даже вправду достойных людей… И он, пока еще будучи рядом с ней, словно бы уже начинает в грядущем, неумолимом и сурово глядящем лицом долга расставании прощаться… Не верит, что решится и это всё же произойдет, но тем не менее… Их жизни и судьбы отныне сращены намертво и до конца дней, они чудом, невероятно обрели друг в друге близких, бесконечно ценных людей, слились нераздельно и так это, сколько и что суждено, теперь будет – поверх ощущения безопасности, гармонии с миром и окружающими вещами, блага и многого иного, такова была самая суть счастья, чувство которого целиком заполняло его в то туманное утро и страшно, в считанные мгновения рухнуло. А на смену пришли постоянная тревога, ужас перед неизвестностью и на глазах совершающимся крахом судьбы, мира вокруг, надежд и привычной долгие годы жизни, который каждый раз казался достигшим предела и погубившим последнее, но на деле лишь открывал дорогу новым, еще худшим несчастьям. Слияние до конца с женщиной, в которой в первые за жизнь ощутил по настоящему близкого, в самом главном способного и стремящегося его разделить человека, чувство всей правды обретения и преодоления одиночества, срастания судеб – в этом было счастье в те короткие мгновения… В чудом обретенной возможности жить сутью любимой, близкой ему женщины, миром ее мыслей, чувств, порывов и таланта, горением и могучими нравственными побуждениями ее души, которыми она была так удивительно созвучна ему… Ведь какой же безнадежной казалось ему ставшая привычной за жизнь, неизменная даже в академическом кругу неразделенность в вечных борениях, конфликтах и муках, отношении к вещам, терзаниях и самом главном, что во всем этом двигало им, обрекало на это и многое иное неумолимо… Счастье было во впервые, но могуче и несомненно, правдиво пришедшем к нему ощущении возможности связать жизнь и судьбу с женщиной, в похожем на безумии желании это сделать… В таинстве их полного слияния под покровом ночи и в пахучем дурмане яблоневого сада, которое словно бы всё это воплотило… И представить теперь расставание и разрыв, хотя мысль об этом, поверх муки, неумолимо и по самой сути случившегося пришла ему в голову в первое же после бегства по крышам, заборам и темным переулкам утро, решиться разрезать их связь, погубить их чудом состоявшуюся близость и встречу очень тяжело, невероятно больно, кажется невозможным. Для них обоих. Он ведь конечно понимает ее. Однако, он понимает и другое – хоть значит

это кажется тоже самое, что любимого человека предать или вообще совершить убийство, так наверное предстанет в ее глазах и будет ею прочувствовано, именно это он должен ныне, это обязан сделать. Да, пусть внешне пока планы их удаются, они могут быть вместе и так счастливы, согревают и спасают, поддерживают друг друга в наставших бедах, но любовь к нему губит ее и кажется становится угрозой ее возможностям, судьбе, благу и поди черт еще знай чему. Ведь вправду – поди знай, до чего обезумевшие «господа мира», сумевшие словно домик карточный обрушить Польшу, покорить и уничтожить ее, окрыленные собственными успехами скоро дойдут. Тем более – не чувствуя преград и наблюдая успех их самых безумных затей. И потому – мысль об этом его не покидает. Любовь к нему становится ее судьбой, грозящим погубить ее роком, чреватым кучей опасностей и бед безумием. Он видит это. Он всё яснее понимает и чувствует, что не имеет права быть с ней и подвергать ее риску, принимать от нее такую жертву. Ради нее и любви к ней, во имя ее блага. Пусть это даже будет болью и словно мучительной казнью для нее. Пускай это будет чем-то страшным и нестерпимо мучительным для него самого, отнимет у него что-то, подобно самой жизни ценное, нечто последнее, что ныне имеет ценность в его жизни и нравственно держит его. Да, на то она наверное и любовь – так бы он сказал, если бы речь шла о нем. Но он мужчина. Ее жизнь, судьба, благо и возможности не могут и ни в коем случае не должны быть ценой их любви, как бы та ни была настоящна и чудесна, каким счастьем для них обоих не обещала быть еще совсем недавно. Да, любовь наверное может приносить и несчастье… Но он любит ее и не хочет, что бы так было с ней. Расстаться, обнявшись на прощанье и отдавшись во власть судьбе… мысль об этом жжет адской болью их обоих, он знает, а ее на утро после ареста коллег вообще сводила с ума, повергала в истерику и крики «нет, только не это!» Он понимает ее. За годы одиночества он конечно стал эгоистичен, закоснел в разных привычках – сказать можно по праву многое. Да и конечно – должен человек в отношениях с другим думать о себе и собственном благе, оттого и ищет близкого себе, родственного сутью и способного разделить его в главном, а не погубить, задушив стремления и надежды, извратив его судьбу и жизнь ложью и грязью разнообразных страстей. Но проснувшаяся любовь к ней – единственной за всю жизнь женщине, которую он ощутил близкой, этим влекшей его и обретшей для него ценность, дала понять: ради любимого надо уметь жертвовать и быть готовым сделать многое… особенно, если ты мужчина. Он ныне ничтожество, пусть даже не по своей вине… Лишь растоптанный прихотью мира и судьбы беглец, познавший крах всего, который может только брать от любимой женщины и обрекать ее на муки, но ничего не способен ей дать, кроме самого блага близости с тем, кого она, безумно и словно кошка любит. Ясное сознание этого – именно то, что так мучит его… И единственное, что он как мужчина может сделать в этой ситуации для любимой женщины, во имя любви к ней, последние дни не оставляет его ум… Ценой их любви не должны быть ее беды. Их любовь и встреча настоящны и стоят многого. Любовь и близость, если они настоящны, вообще стоят очень много, требуют жертвы. Но они не стоят ее блага и судьбы – женщины, которая кажется ему чудом. Таким же, как сама их невероятно случившаяся любовь, встреча и близость. Всем она чудо. Сутью, силой личности и стремлений ее души, их чистотой и настоящностью, человечностью. Удивительной человеческой зрелостью, нравственной и духовной, так редко свойственной женщине и тем более – молодой. Тем личностным и нравственным горением, которым дышат она, ее чудный и словно сошедший с полотен, окутанный энергией и силами облик, ее игра и беспощадный к себе труд. Талантом и удивительными возможностями в игре, которые ей подарила судьба, а раскрыли – труд над собой, нравственная сила и человеческая настоящность. Да одной уже сплавленностью со всем этим ее кажущейся «неземной», живописной, «божьей» красоты, которой норовишь отвлеченно, эстетически любоваться, но в которой всегда видишь отблеск и олицетворение ее удивительной, подлинной и полной кажется бесконечных граней, загадок и открытий человеческой сути – лишь сумей ту в ней познать, различить и воспринять,

прожить в собственной душе… Он сумел, удостоившись в ответ чуда и тайны любви, взаимности и разделенности… И тем более это невероятно, что редко бывает так и редко дано разглядеть в живописной, совершенной чертами красоте лица и облика женщины подлинность, красоту и богатство ее человеческой сути – вот той, которая по настоящему влечет к ней, рождает чувство близости и разделенности, желание слиться с ней судьбой, любовь к ней и ощущение ее ни с чем, наверное, не соизмеримой и именно человеческой ценности для себя, ценности связи с ней. А еще точнее – редко дано обнаружить в женщине, и тем более красивой, подлинность ее человеческой сути, красоту и суть личности, человеческих и нравственных черт, судьбы и поступков, в которых они находят выражение. Ведь ослепляет красота женщины, вызывает силу влечения и страсти, завися от которой, он давно понял и сказал себе, полюбить и быть способным любить не дано, но лишь сумей, пожелай и решись вглядеться в суть ее, вот в ту самую человеческую и неповторимую суть, которую так редко познаем и различаем – такое найдешь и без сомнения увидишь, что ненависть вызовет женщина, отвращение. И всё дело именно в том, что редко способен и стремится человек глядеть в суть, различить и познать ее. Ибо редко ищет подлинной, близкой и влекущей сути, способной вызвать любовь, чувство разделенности и ценности другого, желание и решимость соединить с ним жизнь. Ведь редко способен любить и в труде над собой раскрывает, созидает эту способность, умение и готовность нравственно отвечать перед неповторимой человеческой сутью другого человека, его святостью и неприкосновенностью, правом быть целью себя. Всё больше норовит использовать другого, принести его в жертву разным целям и страстям, от похоти и социальной обязанности иметь семью и продолжить род, до поди знай каких еще гнусностей в собственном существе, лишь копни да волю дай! А отвечать перед другим человеком как неповторимостью сути, жизни и судьбы, таинством надежд и возможностей, трудиться для этого над собой и жертвовать – да поди сыщи героя… Где отыскать в себе столько человечности, нравственной сути и мужества ей следовать… Где человеку найти в себе столько подлинности и человеческого содержания… И нужно обычно просто так и эдак, ради одного или другого человека использовать, а приди быть может тяжкое мгновение, когда надо отнестись к нему как к ценности и цели себя, перед ним, неповторимой сутью, жизнью и судьбой его понести ответ, жертвовать ради него – всё на свои места становится и оказывается, что и не знал того вовсе, хоть может немало времени в грязной, циничной и безличной связи прошагал рядом… Власть влечения и вообще разных исподвольных страстей, так по моде времени превозносимых, должна быть на пути к любви, встрече и близости, способности любить, познать и разделить другого преодолена! Любовь требует внутренней правды и осмысленности отношения к другому в той же мере, в которой личностна, созидательна и нравственна! Он давно понял это, а встретив и полюбив Магду лишь убедился, что был прав… Обрел ее и любовь с ней, их встречу словно в награду за его человечность, мужество одиночества и нравственной правды жизни и дел, за силу в труде над собой, благодаря которому оказался способным встретить, познать и полюбить. А она совсем недавно призналась ему в этом!.. Во время одной из ночей близости, уже в ее квартире на Бискуповой, когда он лишился всего и стал бездомен… Всё располагало в те дни к последней близости и откровенности, слиянию до конца. И вот она, целуя его и словно лихорадочно исповедуясь, с сонмом всегда сильных в ней чувств признавалась, что до встречи с ним ненавидела ее живописную, одновременно «божью» и вожделенную многими красоту, ибо не давала та познать ее саму, разглядеть и оценить ее суть, отозваться ей и человечное, настоящее, достойное доверия и любви чувство к ней испытать. «А теперь» – продолжала она со страстью объятий и поцелуев – «счастлива, рада дарить ее красоту любимому, с которым слилась и близка кажется не то что до глубин души, но до атомов и молекул». Это было вправду человечно и дарило счастье. Счастье во всем – в состоявшейся близости их душ, умов, жизней и судеб, настоящей настолько, что она казалось неправдой и чем-то невероятным…

в оформившем ее и делавшем ее полной, пронизанном трепетом, поэзией и экстазом страсти слиянии тел… Счастье было в ощущении обретения друг в друге по настоящему близких сутью, друг друга любящих и словно саму жизнь ценящих, в самом последнем способных один другому доверять, до конца слившихся и разделяющих друг друга людей… В чувстве, которое с серьезностью нагрянувших ныне бед, доказало его верность, а не иллюзорность, очень реальными, тяжелыми жертвами и испытаниями… Но вместе с благодарностью, его любовь к ней пронизывает ныне чувство вины и ненависти к себе, увы… иначе не выходит… В начале их встречи почти год назад, ее красота испугала и даже отвратила его… А вот когда он, не поверив, воспринял и пережил, понял и почувствовал близкой себе ее суть, поэтому полюбил и навеки стал продан ей, словно утонул в ней, обещающей счастье близости и бесконечность открытий, давно отставленную в сторону надежду по настоящему преодолеть одиночество, ее красота стала для него лишь олицетворением чуда, которым она была… «Всем она чудо, жизнь и счастье его, капли его крови, дыхание его души» – Войцех при этих мыслях бросает взгляд на кровать, где словно жизнь любимая им женщина, пока еще мирно сопит под грудой одеял, добирает остатки сна и покоя… И любовь их, встреча и близость, связь друг с другом – чудо. И конечно требует жертв. От него больше, чем от нее, безусловно. Он не имеет права быть рядом с ней и принимать от нее такие жертвы. А та жертва, которой судьба требует от него, всё более беспрекословно становится ему ясной… Хочется заорать или по детски завыть, представив, что встретившись и найдя друг друга, познав казавшееся невозможным счастье, они теперь должны расстаться, разорвать связь… дать разойтись их дорогам… быть может навсегда, ведь поди знай, что будет… Скорее всего – именно навсегда… И словно убить этим кого-то, погубить нечто, подобно человеку и самой жизни ценное, святое. Но он не имеет права губить ее, заставлять ее так мучиться, подвергать ее пусть даже пока не прямой опасности… Во имя нее и любви к ней – не имеет. Он всё чаще чувствует и понимает это, и в такие мгновения от ужаса, боли и отчаяния готов закричать. Их любовь чудесна и настоящна, требует и стоит много. Но не ее блага и судьбы, не опасности жизни для нее. Не ее самой, любимой до то ли детского, то ли уже старческого и почти отцовского трепета. А вот же – его любовь становится для нее бедой, тяжелым и поди знай чем способным закончиться испытанием. Что он, законченное ничтожество и трус, может сейчас дать ей и сделать, чтобы любить ее, дарить ей благо и счастье, надежды?! Кто он такой ныне и какое право имеет быть с ней, обрекая ее на опасность и жертвы вместо того, чтобы в наставшем кошмаре помочь ей выжить, беречь ее, хотя бы ее не губить?! Они счастливы их любовью и близостью, но это может стать трагедией, он понимает и еще больше – чувствует. Он несет с собой лишь горе и беды. Всю жизнь он нес с собой то, чем собственно и были он сам, его душа и судьба – страдание, отчаянную и мужественную, до последнего борьбу, поиск и конфликты, вместе с этим свершения творчества, силу любви и свободы, ярость совести и благородство различных поступков, коих было всё же немало и он часто, чтобы ободрить себя, произносит так в мыслях. Она познала, полюбила и была готова, даже хотела разделить его таким, вместе с человечным и настоящим несущим и то трагическое, что во все времена и по сути от этого неотделимо. И в разделенности в этом и многом другом, для их человеческой сути, их жизней и судеб главном, были их любовь и близость, чудом случившееся обретение друг друга, их наставшая ценность друг для друга, когда кажется готов сделать для другого всё и лишь бы до конца, сколько и что отпущено, быть рядом. Но ныне он нес с собой лишь опасность, горе и беды, если даже не немедленно, то в самой ближайшей перспективе. И хоть их любовь и близость стоила многого, быть может последнего, а представляя разрыв с ней, который, из-за ада обстоятельств, обещал совершиться скорее всего навсегда, он был готов завыть от боли и понимал, что это станет трагедией и мукой для них обоих – точно не стоила ее, человеческого чуда, которое в наступившем кошмаре должно выжить и спастись, чтобы в конце концов суметь удивительно и невероятно расцвести, познать счастье творчества, свершений,

всей полноты жизни и любви к кому-то другому… более счастливому и достойному… Он счастлив и держится ныне одной лишь возможностью укутать ее в нагретый, оставшийся от хозяев тулуп, но готов завыть от боли и ненависти к себе, ибо сам, любовью к нему обрекает ее на муки постоянного холода и другие, гораздо более опасные вещи… И всё более ясно понимает: он не имеет на это права, совершает преступление, пусть даже пока всё ладится, не должен был тогда соглашаться и дать уговорить себя, а ныне – во имя любви и любимой женщины должен погубить, предать любовь… И если его совесть любящего мужчины, зрелого и ответственного за судьбу любимой чего-то требует – беспрекословно и безжалостно, хоть в петлю в лезь, то именно этого, пусть даже это противоречит ее стремлениям и надеждам, ее воле. День ото дня он чувствует и понимает это всё яснее. И ему кажется, что точно так же, как и во власти страха посреди темного университетского двора, он предает себя и то главное, чем жил, не решаясь ныне вопреки всему – возможно вечному расставанию, аду боли и мук, открытым кровоточащим ранам в душах их обоих сделать то, что считает должным и видит единственным выходом. А она, дурешенька любимая, гениальная пианистка и недавно до оскомины окруженная почитателями королева, горда и счастлива, что может спасать его и для этого рисковать, коченеть в гнилой постройки доме, трястись три раза в неделю на чем попало в Краков и обратно, да это вовсе не самое опасное и худшее… А он, только лишь представляет, что более никогда ее не увидит, не услышит ее голоса и не поцелует ее глаз, не различит в них понимание того, о чем они целый вечер промолчали… не почувствует в ее словах воодушевленного согласия с верными для него мыслями… не ощутит себя в этом с ней вновь одним целым, не сможет сказать ей чего-то главного… Да просто – более никогда, ни в счастье и горе, радостях и совместных планах, ни в испытаниях и чем-угодно другом не будет с ней рядом… Он, который еще до ночи их близости дрожал от одних лишь ее бодрых, сильных шагов на лестнице, мечтал о возможности и праве быть близким к ней хотя бы немного, пусть только как руководитель ее работы, теплый друг и почитатель ее гениального таланта, а не любящий мужчина, нашедший в ней единственную за жизнь, дорогую и родственную сутью женщину… Думал о праве если не обладать ею и слиться с ней до конца, то просто быть близким и хоть немного делить себя, лишь прикасаться к мечте о любви и счастье, которой не суждено, и может быть к лучшему, стать реальностью… к чуду человека, который дарил надежду на это, но скорее всего предназначен был принести счастье в судьбу кого-то другого… О, сорокалетний и видавший виды мужчина, он в эти мгновения готов выть, кричать и от боли броситься на стену, убить себя и что угодно сделать… лучше умереть, кажется, ей-богу…. И при этом понимает – иначе скорее всего нельзя… И что делать?..

…Вот – она просыпается, пружины на кровати начинают скрипеть и вода в ведрах слава богу уже почти закипела. Войцех снимает с изразцов хорошо нагретый тулуп и несет его Магдалене. Чтобы она если не спала, так хотя бы проснулась в тепле…

Глава четвертая

Герр Оберштурмбаннфюрер

Уже две недели как оберштурмбаннфюрер СС герр Бруно Мюллер занимает огромный кабинет в здании «гестапо» на Поморской и исполняет обязанности главы общей и тайной полиции Кракова. Он позволил Беккеру себя уговорить. Результаты блестяще организованной и проведенной им акции 6 ноября превзошли любые ожидания, во всех смыслах. С точки зрения намеченных целей – в первую очередь. Поляки «залезли под лавки», как намечалось. Всё молча проглотили. Он, и задумывая операцию, и еще ранее, когда родилась сама идея споря с Беккером, честно говоря опасался реакции на столь жесткие действия – они могли вызвать бурю возмущения у городской, вообще у польской и у так сказать «мировой» общественности. Вряд ли это могло бы привести к каким-то спонтанным уличным беспорядкам, а даже если и так, то справиться с подобным конечно же не было бы никакой проблемы, дело в другом. Могли возникнуть более глубинные негативные последствия. Это могло бы привести к мобилизации каких-то оставшихся в Кракове польских структур, формированию на волне возмущения и вздыбившихся антигерманских настроений подполья, более или менее организованного сопротивления, выстраивающего какие-то планы и меры. Припертые в угол и лишенные уже не просто государства и независимости, а Ягеллонского университета – символа их истории, их древнего столичного города и духа, да и академической системы вообще, то есть возможности в условиях немецкого господства как-то полноценно планировать жизнь и судьбу, карьеру для своих детей, очевидно превращаемые всем этим в то, чем они и должны быть в выстраиваемом новом порядке – в рабов, которым просто милосердно позволено оставаться в еще недавно собственном доме, поляки могли почувствовать, что им более нечего терять. А зажатый в угол кабан, которому более нечего терять, бросается на охотников и их пики, это известно. Это было бы неприятно и означало бы начало серьезной головной боли, настоящей и плотной работы, честной награды за которую ждать не приходилось, ибо проныра Беккер, как он знал и уже имел однажды возможность убедиться на опыте, отлично умеет не только использовать людей по собственному усмотрению, но еще и присваивать плоды их усилий и служебного таланта. Это было бы в особенности неприятно, поскольку речь шла о столице генерал-губернаторства, в которой рукой подать до ключевых фигур и потому должен быть такой же порядок, как в коридорах резиденции Фюрера. Впрочем – это и есть его работа и он умеет делать ее хорошо. И понимая это, Беккер и метил его в своих планах на пост начальника полиции безопасности и СД. Однако – ничего такого не произошло, он преувеличивал в своих опасениях. Поляки и вправду ничтожества и низшая нация, которая не имеет права на дом и на то, чтобы быть в собственном доме хозяином. Когда более не остается иллюзий и человеку становятся безжалостно очевидны его судьба и то, что с ним намереваются сделать, в большинстве случаев он делается отчаянно решительным и смелым, дерзким, способным внезапно вцепиться в горло своему палачу и попытаться умереть с достоинством, то есть в борьбе. Оберштубманнфюрер хорошо знал это из многолетней работы с заключенными и был уверен, что психология отдельных людей ничем не отличается от психологии массы, подобное и давало ему повод для опасений. В более редких случаях, когда речь идет о полностью сломленном в «работе» над ним человеке, тот, всё видя и понимая, настолько уже утратил волю, что становится безразличен к собственной судьбе и позволяет ей совершиться. Вот нечто подобное похоже произошло и в данном случае. Любой народ понял бы после акции 6 ноября и немедленно последовавшего за ней закрытия университетов по всей бывшей Польше, что его ожидает и какая участь

ему уготована, тем более – тот народ, который жил в собственном доме, был независимым и мнил себя «великим» еще каких-то два с небольшим месяца или три назад. В этом случае люди становятся солидарными в пробуждающихся в них порывах, начинают под властью таких порывов организовываться, искать возможность что-то сделать и изменить, как-нибудь бороться. И всё это накладывается на рудименты тех или иных правительственных, силовых и так далее структур и может привести к возникновению подполья и более-менее стройного сопротивления. Это хрестоматия дела. И чем более жесткую политику проводят новые власти, чем больше они ограничивают жизнь покоренного населения в правах и возможностях, посягают на «последнее», от чего припертому в угол кабану становится нечего терять, тем сильнее вероятность возникновения и развития процессов активного сопротивления. Всё зависит от силы порывов и масштабности оставшихся от прежней власти структур, и вот он, оберштурмбаннфюрер СС Бруно Мюллер, истинный немец и патриот, человек долга, готовый во имя долга и Германии умереть, сын великой и призванной править миром нации, если спросить его, думал о поляках лучше, в некотором соотнесении с собой, и был уверен, что нечто подобное и случится. Еще больше – он в глубине души даже желал и ждал этого, им двигали азарт опытного игрока, которому хочется встретить хоть сколько-нибудь значимого противника и рассчитывать на увлекательную партию, на нормальное дело, и то чувство, когда жертва побоев совершенно ничтожна и что ты с ней не сделай, не имеет последнего достоинства и никакой решимости себя защитить: ты смотришь на нее с презрением, всё ждешь, когда же она хотя бы занесет руку и стиснет кулак, хоть зубы сцепит от злости и ненависти, откровенно издеваешься над ней в надежде на это, плюешь в лицо, бьешь по лицу и по голове, уже готов кричать «ну же!» и сам поднять ее на ноги, а ничего не происходит. Вот так ничего не произошло после акции 6 ноября и последовавших сразу же после нее мер. Ровным счетом ничего. Все имеющиеся источники и каналы достаточно достоверно доносили, что под покровом краковской жизни, где всё, при иных обстоятельствах, должно было после событий прийти в движение и забурлить, или хоть как-то зашевелиться, царит мертвая, полная, гробовая тишина. Словно нет никакого подполья и никого, способного и имеющего планы оное организовать, ни малейшей воли к этому. Вот так-то. Кто мог ожидать и подумать? Да никто. И когда обнаруживаешь настоящее положение дел, всю ничтожность противника, которого ты считал способным дать хоть какой-то отпор, хочешь или нет, а начнешь утрачивать трезвость и примутся вырастать крылья за спиной, воля зайдется в экстазе порывов и планов и станет казаться абсолютно осуществимым и возможным то, при мыслях о чем еще вчера сам бы себя осадил и над собой же посмеялся. И он уже четко ощущает это: по планам, которые генерал-губернатор Франк и Высший Штаб спускают на него касательно выпущенных из польской тюрьмы украинских «наци» – о, относительно них существует какой-то дальний во времени задел, это видно хотя бы по тому, как воюют за работу с ними бульдожки из «Абвера»! – и по всё более разгорающимся мыслям идти дальше на Восток, которые, он уверен, в первый день кампании отсутствовали в принципе. Да и не только на Восток, конечно же, совсем нет – знающий знает! О, миру еще только предстоит изведать силу и мощь, несломимую волю немецкой нации, ставшей могучим кулаком, сплоченной верой в дело и цель, в великого и посланного судьбой человека! И трусливые ничтожества из западных стран и капиталистических демократий, вроде бы сохранившие лицо и объявившие Великому Рейху войну, но на деле вступить в настоящую драку не посмевшие, попросту испугавшиеся, подписали себе этим приговор и заплатят жестоко, дайте только время, очень недолгое! И конечно же – по всё большей жесткости в поисках решения, что делать с евреями. И он, Бруно Мюллер, в мыслях издевавшийся над подобным «вырастанием крыльев» и называвший про себя идею Беккера по полной нейтрализации краковских профессоров «безумными фантазиями карьериста и проныры», ныне сам ощущает подъем, абсолютную уверенность в работе и возможность осуществить практически любые планы и цели, которые будут

поставлены, хоть если прикажут сварить десятки тысяч краковских евреев в котлах! И – да, да! – стыдится за себя и подумывает, а не является ли то, что он считал в себе осторожностью опытного профессионала, лишь слабостью и параличом воли, доставшимися ему как сыну поколения «версальских пораженцев», вот ей-богу. Фюрер бывает истинно гениален в его прозрениях и иногда по настоящему помогает им понимать себя, безжалостно и до глубины, действительно великий человек, вот ей-богу! Он, Бруно Мюллер – человек дела, его жизнь – напряжение и осуществление воли, реализация сложных и великих целей, переворачивающих окружающую действительность «вверх тормашками», переиначивающих мир в соответствии с замыслами Фюрера, и сейчас он испытывает подобный памороку в глазах экстаз воли и ощущение, что у его воли нет никаких преград и нету целей, которые были бы ей недоступны. Он почувствовал подобную гниль в поляках еще в первые дни кампании, как она развивалась. Они, немцы, если не дай бог когда-то случилось бы, что враг пришел на землю Германии, в немецкие города, в их дома и к их женам и детям, дрались бы до последней пяди еще не занятой земли, до последнего вдоха, умирали бы с криком «Да здравствуют Фюрер и Германия!» или вцепившись в горло солдатам противника. Он, Бруно Мюллер, сын великой немецкой нации, уроженец вечно отнимавшегося у немцев Страсбурга, который всё равно рано или поздно будет возвращен, ни на йоту в этом не сомневается. Даже когда настал полный крах Польши, он всё же еще верил, что уж активное боевое подполье поляки точно организуют и центром того станет именно Краков. Потому он так не желал лезть в этот город, то есть в практически гарантированную головную боль с утра до вечера, и испытывал искренние опасения на счет предложенного Беккером генерал-губернатору плана. Он человек долга и дела, это верно. И дело он знает, его служебная репутация говорит об этом каждому. Но для того, чтобы показать себя в деле, вовсе не обязательно бросаться в самую мясорубку, тем более – если усилия и пот обещают оказаться напрасными и «сливки» с шампанским достанутся кому-то другому. О, работа и искусная, похожая на шахматную партию игра с подпольем, жестокое и под корень вымертвление сети и структур подполья – это его конек с самого начала службы, именно этим он зарекомендовал себя и сделал себе служебное имя, из-за которого вынужден теперь, вместо исполнения долга дома, шляться черт знает где и позволять кому-то, откровенно и с собственной выгодой его талант и возможности использовать! И случись всё это, подсказанное опасениями и логикой, он конечно же сумел бы раскрыть и проявить себя, занимаясь любимым делом и тут! И по большому счету, в выпавшей ему ситуации у него просто не было бы других шансов как-то идти к трепетным целям и мечтам – месту в Рейхе или где-то по близости, в более близкой душе обстановке. Однако, у него были причины считать, что плоды его усилий и служебного таланта окажутся в плане вознаграждения напрасными, станут присвоены пронырой Беккером и потому – долг долгом, быть верным долгу надо при любых обстоятельствах, но зря расшибаться в лепешку во имя дела и тратить силы, способствовать чьей-то, а не собственной карьере, он не желал и по возможности хотел обреченности на это избегнуть. Но все эти сомнения и переживания в любом случае оказались напрасными. Он вправду считал, что закрытие Университета в Кракове и университетов по всей бывшей Польше, массовый и со скандалом арест польских профессоров станут именно тем «последним», что побудит к организации сопротивления, быть может и вполне активного, опирающегося на настроения массы. В самом деле, когда людям внятно объясняют, что они обречены быть в недавно их доме приживалками и рабами, нацией второго сорта, лишенной права дать молодежи сколько-нибудь полноценное образование и потому – будущее, то чего же, собственно, еще? Он помнит, как искренне возражал Беккеру, помнит высказанные им опасения и доводы, и вынужден ныне посмеяться над собой и признать, что Беккер прав и носит значки группенфюрера СС не только потому, что хитрый проныра. Окажись его опасения справедливыми – воли немцев конечно хватило бы навести порядок и безжалостно приструнить тех, кто так позорно рухнул во время кампании и несмотря

на пафос, наглость и имперские претензии показал, что не стоит гроша и драться не умеет, не имеет воли и сил. Да и у него самого, опытного и ретивого служаки, хватило бы воли и средств исполнить долг и послужить этому. Только зачем лезть на рожон и искать лишней головной боли? Такой была его логика. И она казалась ему справедливой, продиктованной именно опытом и профессионализмом. Вступая в войну чуть ли не с половиной мира, нация слепо и покорно шла за волей Фюрера и его идеями, свято верила в них, в собственную непобедимость и судьбу, в ничтожность врагов – это так. Но у кого их тех, кто в тайне смотрел на вещи хоть немного шире и был на это способен, не закрадывались в душу сомнения? От трезвости и опыта, конечно, не от предательства! И особенно – если в памяти всплывали факты истории. Лично он, помня об этих фактах и несмотря ни на что, думал в глубине души о поляках лучше и считал их более серьезным противником. И трудности, которые предстояли в ходе начавшейся кампании, виделись ему, да и очень многим другим, говоря честно, куда более значительными. Отсюда были его опасения и тяга к мудрой осторожности – казалось, что познавшие крах на полях боев, за месяц потерявшие то, что мнили великой и возрожденной империей, поляки всё же, как раз во власти их притязаний и химер, слишком просто и быстро не сдатуся, не примирятся и не привыкнут к покорности, сумеют потрепать нервы и причинить массу хлопот. Факты истории говорили именно об этом. И необходимость мудрой осторожности в политике диктовали опыт и трезвость – так он тогда думал. Уважая, конечно, собственное мнение и себя как старшего офицера СС и СД. И оттого откровенно вступал в спор и конфликт с Беккером касательно средств и планируемых мер – сохраняя субординацию, но собственную позицию отстаивая. Но прав был не он, а Беккер, теперь он вынужден признать это. И Фюрер конечно гениален, когда ведет нацию и учит ее пути, пониманию себя и собственной судьбы. В нем самом, Бруно Мюллере, опытном «гестаповце», человеке долга и конечно преданном делу нации немце, под маской «справедливых сомнений и опасений» скорее всего говорил лишь сломленный и изувеченный дух лет, униженных тенью версальского позора. Увы – он вынужден это признать, у него нет выхода. Потому что с точки зрения поставленных целей всё произошло вопреки опасениям и превыше ожиданий, паны «залезли под лавки» и сумели втиснуть туда свои зады. Полная тишина. По крайней мере, насколько это дано прощупать сейчас оберштурмбаннфюреру СС Бруно Мюллеру и подчиненному ему краковскому «гестапо». В любом другом месте и случае он, Бруно Мюллер, опытный служака и «гестаповец», наоборот – очень забеспокоился бы и начал рыть и щупать еще более, сколь возможно глубоко, ибо подобная тишина могла бы означать как раз наличие подполья и его максимальную, с совершенным профессионализмом скрытость и законспирированность, планирование чего-то не спонтанного, а серьезного и множественного. Однако – не в данном конкретном случае, теперь уж оберштурмбаннфюрер был в этом почти уверен. Поляки действительно низшая нация и им ныне отводят ровно то место, которого они заслуживают – это так, события подтверждают и развенчивают любые опасения и сомнения. Фюрер гениально видит суть не только немцев и их пути, но еще и их врагов. И будущее Германии конечно за этим человеком и умением сплотиться вокруг его великой воли, вытравить любые сомнения. И часто за прошедшие три недели он думал, вспоминая слова Фюрера, что сомнения действительно могут быть преступны и разрушают великий и победоносный дух немецкой нации, таят пораженчество и измену, а не «мудрость», «трезвость», «осторожность» и прочее. И будущее Германии – действительно за слепой верой в Фюрера и покорностью его воле, всех и каждого. За сплоченностью в этом нации и ее превращенностью в могучий кулак, который способен дать по зубам и сокрушить кого угодно: ничтожеств поляков, мнивших себя великой империей, если будет нужно – варваров-русских с их претензиями на «пламя мирового пожара» и «флагманство в мировой истории», хоть немцы кое-чему научились у них за последние годы и пожав им руку, пришли к нынешнему успеху, блестящему и только открывающему дорогу по настоящему великому.

Да и всех остальных, конечно, точно так же себя чем-то мнящих и не желающих признавать очевидное ныне уже каждому немцу, если он только не последний выродок и предатель – собственного ничтожества и высшего величия немецкой нации, которая призвана править миром и перевернуть тот «вверх тормашками», перекроить по ее мерке, следуя ее планам и целям. Еще в конце октября, когда он ехал в Краков организовывать акцию, он сомневался и чертыхался в мыслях, позволил остаткам слабости и «версальского увечья» в его немецкой душе подать голос – в последний раз, конечно же. И конечно – будучи готовым поверх всего, опытно и блестяще, с верностью делу и долгу выполнить на него возложенное. Долг есть долг, чтобы ни было. А теперь он раскаивается и начинает верить в идеи и великие замыслы Фюрера чуть ли не безгранично, как и должен каждый настоящий немец и патриот, человек дела и долга. И все набирающие обороты события, которые очевидно означают торжество и полный успех немецкой воли, к этой вере побуждают и даже обязывают, ведь каким же действительно нужно быть подонком, предателем или просто выродком, чтобы и ныне продолжать лелеять в душе сомнения! Просто полный испуг, сломленность словно бы целиком, готовность выживать при любых обстоятельствах и любой ценой, забыв про всё, лишь бы еще пожить и полюбоваться солнышком. Так он ощущает это в настроениях простых людей, насколько имеет возможность соприкасаться с ними уже два месяца, и таковы же видимо и настроения подполья, если оно какое-то всё же есть. Возможно, они просто еще не успели как следует сорганизоваться или не решаются, иначе – на том уровне, где копает он, Бруно Мюллер, уже проступило бы что-то более или менее внятное. А скорее всего – полный шок перед молниеносным разгромом армии и государства, внешне крепкого, ощущение безнадежности перед лицом немецкого господства и всего совершившегося. И бескомпромиссные, безжалостные меры лишь еще более убеждают в этом население в его массе, делают его покорным, сотрудничающим и сговорчивым. Как карательная акция за резню немцев в Бдыщеве, к примеру – одновременное убийство более 300 человек. В иных странах, он вспоминает историю, реакцией на подобное стал бы остервенелый и отчаянный бунт, тут же безграничная жестокость возымела успех и оказала нужное воздействие – устрашила, задавила и заставила покориться, «загнала под лавки» и парализовала всякую дальнейшую решимость сопротивляться. И конечно – как акция 6 ноября, им организованная и воплощенная. Вмешался Ватикан, мировые организации воют – но кому до этого дело? Достигнут главный эффект – эффект внутри, полное подавление и устрашение. Вот, только под его двухнедельным руководством, в Кракове и округе «по тихому», по «старым» методам работы, арестовано и ликвидировано огромное число людей, около двух тысяч. Такое же где-то количество людей этапировано в концлагеря. В мясорубку отправляются мелкий клир, бывшие аристократы, слишком эмоциональные учителя школ, отставные офицеры, которые даже не были призваны правительством во время кампании, то есть все, кто может представлять хоть какую-нибудь угрозу и войти в подполье. Когда он, Бруно Мюллер, говорит, что копает и щупает достаточно глубоко – он знает, о чем идет речь. То есть – настоящие репрессии, которые хоть и происходят «по тихому», но конечно становятся известны всем и так это, насколько он знает, происходит на всех занятых германской властью территориях. И это продолжится. Это политика. Он лично был на совещании у генерал-губернатора неделю назад, где тот достаточно ясно сказал, что не просто не собирается отказываться от акций внесудебной ликвидации интеллигенции, представителей военно-политических слоев и прочих представляющих угрозу элементов, а намерен на будущий год приступить к ней с еще большей основательностью (оберштурмбаннфюрер мысленно гогочет – краковским профессорам-то еще повезло, в Заксенхаузене больше шансов выжить!) И что же? А ничего. Нет движения, по крайней мере – на подконтрольном ему пространстве и на доступном ему уровне информации. Вплоть до злости, ей-богу! Никаких спонтанных акций возмездия властям, попыток сорганизоваться для этого, пусть безнадежными отдельными диверсиями

показать, мол, «мы тут» – ничего похожего. Затаились как мыши, «залезли под лавки». Если и умудрились как-то сорганизоваться, то замерли в глубоком ожидании, «до лучших времен». При мысли об этом оберштурмбаннфюрер Мюллер зло усмехается. Ну и когда же они думают, эти времена придут? На что рассчитывают? Что русские поссорятся с Рейхом? Такое может быть и случится когда-то, не слишком скоро, но если и да, то немцы сумеют дать по зубам русским так же, как врезали сейчас полякам, усомнится в этом нынче лишь идиот. Ожидать – а чего?! И сколько? «Ожидать» их политика, да, до лучших времен? Но это значит – быть готовыми многие годы жить в покорности, в сенях отобранного дома, безропотно смотря, как исчезают куда-то соседи, не имея возможности учить хорошей профессии детей, повести подрастающих сыновей на напоминающую о «польском духе» пьесу в театр. Всё это, собственно, и значит быть покорным, смириться и подчиниться судьбе. И всё это конечно же очень хорошо для целей Германии и устанавливаемого режима, говорит о шоке, о потрясении в событиях кампании, от ураганом состоявшегося краха. Они просто настолько потрясены и подавлены, что ощущают безнадежность, невозможность любого сопротивления – и конечно по справедливости. У немецкой воли нету преград и нет чего-то, для нее невозможного и недоступного – это теперь понимает наверное каждый немец, если только он не подонок, предатель или сумасшедший, а миру еще только предстоит узнать! И в этой ситуации жесткие и бескомпромиссные действия не заставят «бросаться грудью на мечи», а именно окончательно и безоговорочно подчинят. Решительность действий и груда трупов убеждают, как выяснилось, и не знающей колебаний и милосердия волей вполне возможно устрашить до полной покорности и «сидения под лавками», пассивности и совершенного безучастия к судьбе и происходящему вокруг – лишь бы выжить, еще немного пожить. Справедливым кнутом и вдоволь оставленным хлебом и салом, можно отбить желание бунтовать, приучить к мысли, что «под сапогом» спокойнее и как-то живется, а «бунт» чреват утратой всего – так становятся рабами, так народы делают рабами. Жестокостью и доведением до предела, когда так и эдак нечего терять, могут породить бунт и решимость сопротивляться, и потому он до последнего времени искренне считал, что умеренность и осторожность – оборотная сторона мудрости и успеха. Но у Великой Германии и Фюрера другие планы, это нынче очевидно – Польша должна стать источником продовольствия для Рейха, она не будет иметь права и возможности существовать во имя собственного удовольствия и в той продовольственной повинности, к которой вскоре обяжут польских крестьян, большого куска сала и хлеба им не останется. В «новом порядке», который намереваются строить Фюрер и Великая Германия, у поляков нет надежды на полноценное национальное существование, это очевидно уже всем – и самим полякам, и людям долга и дела, которые воплощают замыслы Фюрера. Оказалось, есть еще и третий вариант – отобрать всякую возможность нормальной жизни, загнать в угол, но при этом безжалостным устрашением и несломимой в реализации решений волей лишить способности сопротивляться, и именно такой вариант является единственно верной политикой в участи, которая уготована полякам. Он вынужден признать, что ошибался, ему как немцу и человеку долга еще есть чему поучиться. И это именно отсутствие духа, да-да! Когда самые обычные люди доходят до остервенения, более не могут терпеть и видеть, что происходит вокруг, даже горами трупов сложно удержать их от действий. Немцы обречены стать властелинами Европы, потому что готовы умирать во имя величия Германии и ни их волю, ни их героический дух не сломить. Он оценивает ситуацию именно с точки зрения немца и человека долга, во всех смыслах. И представляя в подобной же ситуации себя и всех остальных, верных долгу и делу нации, сплоченных вокруг этих святых, нерушимых вещей волей Фюрера и слепой покорностью ей. И сознавая превосходство немцев, а потому – справедливость и неотвратимость происходящего, должность для вещей быть только такими и призванность немецкой воли торжествовать. И конечно – глазами человека долга, на собственном месте ответственного за полное торжество над противником, который

оценивает шансы и возможности противника лишь для того, чтобы в нужный момент суметь безжалостно растоптать и подавить, сломить его, ибо никак иначе в принципе быть не может. Ведь окажись его опасения справедливыми и получи он таким образом возможность нанести удар Беккеру, сыграть в собственную игру и упрочить его положение и авторитет, его опыта и воли, преданности долгу конечно хватило бы, чтобы в сплоченности с остальными привести поднявшего голову, вздумавшего и решившегося бунтовать врага к покорности. Он смотрит на поляков глазами немца, а потому – от простых обывателей до недавно горделивых, дерзивших Рейху и черт знает чем мнивших себя маршалов и политиканов, ощущает их ничтожествами и действительно низшей нацией, которая обречена и предназначена жить в рабстве точно так же, как немцам уготовано переделать и покорить мир, править. И чем более бесспорны, стремительны и сокрушительны успехи немецкой воли, чем напраснее опасения и сомнения, а противник – всё очевиднее ничтожен, тем сильнее он и большинство немцев ощущают подъем и веру, отсутствие на пути нации преград, способных ее остановить, чувствуют ничтожность, обреченность пасть и покориться, уступить их натиску и победному шествию их целей и успехов далеко не только поляков, но всех, любой народ, которому выпадет такая судьба! Успехи окрыляют, делают волю и веру в Фюрера, дело нации и всеобщую победу несломимой, и происходит это на глазах, он знает и чувствует по себе, в совершающихся с ним переменах видит лишь отголосок того, что творится со всеми. Еще какой-то месяц назад от верил в правоту собственных сомнений и возражений, считал их проявлением не предательства или слабости, конечно же, а наоборот – преданности долгу и делу нации, которая опирается на опыт и профессионализм, ищет лучшие пути. А теперь, с им же самим организованными успехами всеобщего дела, он ощущает вину и раскаяние, сомневается уже в себе и его прежних, казавшихся правильными и продиктованными опытом установках. И вместе со всем этим чувствует экстаз воли – его собственной и нации, сплотившейся вокруг идей Фюрера и похожей ныне на могучий, способный что угодно сокрушить кулак вообще. И конечно – веру в непобедимость и грядущее торжество немцев. Он рисковал месяц назад, позволяя себе искренне спорить с Беккером и откровенно высказывать профессиональное мнение, которое считал правильным, но противоречившее взметнувшимся и повсеместно воцарившимся настроениям. И делал это именно как человек долга, нации и долгу, воле Фюрера преданный, будучи уверенным в собственной позиции и заблуждении оппонентов, а потому – считая себя обязанным осторожно, но внятно донести ее. И так именно исполнить долг. И рисковал, что с его волей и служебным талантом, доказавшими себя не один год и в немалом количестве акций, будучи настоящим, преданным нации человеком долга и дела, из-за воцарившихся с успехами настроений предстанет в глазах коллег и соратников в дурном свете и этим быть может вообще заслужит его карьере и судьбе приговор. И во всем этом ощущал себя именно человеком долга, делу и долгу преданным, ставящим на службу долгу и общим целям опыт, профессионализм, волю и мужество. Однако, он ошибался, полностью и даже где-то горько – вплоть до раскаяния и целиком охватившей его вместе с раскаянием и очевидностью собственных заблуждений веры в нацию, ее несокрушимую волю и доступность ей чего угодно, отсутствие у ее воли и целей преград. Дерзкая и жестокая акция устрашила, сумела запугать покоренного врага до предела, примирить его с в общем-то страшной участью, которая ему уготована. Задавить и подчинить целиком, до отсутствия даже малых признаков желания, готовности и вообще способности сопротивляться, проявить непокорность. Там, где в иных обстоятельствах должны были возникнуть бунт, стихийное или организованное сопротивление, движение подпольных структур и организующих их работу сил извне, царит полная тишина. Там, где в этом должны были проявить себя дух непокорности и еще остающаяся способность врага сопротивляться, его неготовность примириться с поражением и судьбой, по крайней мере – слишком скоро и легко, на лицо даны лишь сломленность, раздавленность и повиновение, отсутствие

какой-либо воли к борьбе и одно тошное и омерзительное, но весьма обнадеживающее в плане перспектив стремление выживать под раздавившим сапогом, сколько дано. Подобное означало бы начало и необходимость той серьезной, бескомпромиссной, жестокой и ни с чем не считающейся работы профессионалов, людей воли, дела и долга, в которой враг всё равно был бы сломлен, а его желание бунтовать и сопротивляться – до конца и безоговорочно раздавлено, но так по крайней мере можно было бы ощутить в отношении к врагу хоть какое-то уважение. Он ошибался. Ничего такого нет и не происходит. Он был искренен в его сомнениях и возражениях, конечно же предан долгу и делу нации в стремлении их донести, но он заблуждался, раскаивается и ныне безгранично верит в нацию, ее возможности, в волю и идеи Фюрера, которым должно слепо и беспрекословно, как тот и убеждает с трибун повиноваться. И конечно – в решительность мер, жестокость и несгибаемость воли в их воплощении, как единственный приемлемый для нации путь, залог и условие ее грядущих, не имеющих предела побед. И он уверен, что сумев понять собственные ошибки и увидев правильный путь, работая над собой и учась делу и долгу, теперь способен послужить нации с еще большей преданностью и эффективностью – на его нынешнем месте или на любом другом. А в том, что считал верным, продиктованным опытом и профессионализмом – не сомневаясь в одном и другом, в собственной верности долгу, служебном таланте и качествах настоящего немца, но просто поверх этого! – видит совсем другое, должное быть из его немецкой души вытравленным до конца. Он был искренен, профессионален, предан долгу и делу даже в заблуждениях – горе тому, кто сочтет иначе, но после блестящего успеха осуществленной им и ставшей легендой акции, да и вообще, с его продвижением и новой должностью, это просто никому не придет в голову. И он искренен ныне в движении по новому, увиденному им пути, в работе над собой как немцем и человеком долга, в признании и исправлении ошибок. Он настоящий и преданный нации и Фюреру немец, должен учиться и работать над собой, быть верным долгу и путям долга, которые непрерывно открываются. И он так и делает. Он просто развивается, идет по пути настоящего немца, солдата Фюрера и человека долга, воля которого, вместе с усилиями миллионов подобных ему, воплощает идеи Фюрера и переворачивает вверх ногами, меняет и строит мир. И готов безжалостно вымертвлять в собственной душе остатки слабости и «версальского увечья», которые в ослеплении даже считал профессионализмом, мудростью и осторожностью опыта, но в наличии в нем которых, как и миллионы других, достойных и настоящих немцев, не виноват. Он учится и работает над собой, идет по единственно верному и правильному пути. Должен это и так и делает. Он искренне считал идею Беккера заблуждением или даже карьерным пронырством, циничным желанием выслужиться, пренебрегая настоящими целями дела и долга, пусть рожденной на волне настроений и куража, но опасной последствиями и способной нанести делу вред авантюрой. И он был и оставался в этом именно человеком долга, делу и долгу преданным, готовым служить долгу беззаветно и целиком отдавая себя. И как человек долга, пусть даже неприемля идею акции и считая ее лишь совершаемой в ослеплении и власти куража глупостью, просто нашедшей отклик карьерной авантюрой, был готов с честью и верностью делу, блестяще ее воплотить, исполнить долг и отданный приказ. Честно предупредив о кажущихся возможными последствиях и не неся за них, в случае подтверждения собственной правоты, никакой ответственности. И был в этом конечно же искренним, преданным человеком дела и долга. И именно так воплотил идею Беккера, совершил ставшее легендарным дело. И убедился в собственной неправоте и признал ее, очень многое выучив и именно так, во всем этом вместе оставшись собой – настоящим немцем, человеком дела и долга, преданным нации и идущим по единственно возможному пути. И вопреки ожиданиям, обрел награду – признание его заслуг вплоть до упоминания Фюрером. От этого в конце концов поддался уговорам и согласился принять не очень-то желанную должность, остаться в городе, служить и исполнять долг в котором не хотел. И использует

награду и доверенную ему должность правильно – чтобы учиться и исполнять долг привычно для себя, то есть умело, опытно и блестяще, но только теперь еще лучше, со всем усвоенным и понятым! И изувеченные, превращенные за последние пару недель в фарш туши в подвалах, имели возможность в этом убедиться. И довольны им на должности главы краковской полиции, уважают его, продолжая послужной его список и состоявшееся имя, конечно не зря. А он ныне будет просто еще более решительным и не знающим колебаний, полным слепой веры в нацию, дело и волю Фюрера, остатки увечья и слабости в его немецкой душе сумеет вытравить. Принять слабость и сомнения за иллюзию опыта позволил себе в последний раз. И на пути служения долгу и нации, учитывая его, уже успевшие стать легендарными качества и таланты, будет так еще более преданным и полезным, стоящим очень и очень многого. И так, даст бог, пройдя через витки опыта и работы над собой, приблизится к заветным мечтам. Он идет по пути долга, обязан учиться и в этом проявлять верность долгу, качества настоящего, достойного уважения коллег и слов Фюрера немца. И он так и делает. «Вот только была бы работа!» – он готов готов восклицать это в мыслях со смехом и злобой одновременно. Враг оказался ничтожен и акций сопротивления или движения, хотя бы легкого ворошения подполья, позволивших бы развернуть ответные меры и раскрыть опыт, достигнутые в службе качества и умения, не только преданность долгу, но и искусность в его исполнении, попросту нет. Ничего нет. Гробовая тишина. Есть пока только репрессии в отношении к и без того запуганной шляхетской интеллигенции, которая, в отличие от знаменитых магнатских родов, договорившихся с властями, оценена «представляющей потенциальную угрозу» и потому – и в целях еще большего устрашения и подавления, и с точки зрения практической необходимости, в рамках превентивных мер, устраняется массово и по всей стране. Причем речь идет только о начале. И даже это не приводит ни к какому внятному движению. Вот так-то! Странно еще одно – в растоптанной, покоренной и расчлененной Польше были сильны коммунистические структуры, хоть власти с этим и боролись, и в таких структурах, как и повсеместно, было до черта евреев. А коммунисты – это всегда подполье, умело и с многолетним опытом работы созданное. Оттого-то, в совместно определенных им, Беккером и представителями генерал-губернатора мерах по искоренению интеллигенции, проводимых изо дня в день, они в особенности сосредотачиваются на выявлении коммунистов, всех когда-либо связанных с разными социалистическими партиями и профсоюзами, и этих предпочитают не этапировать в концлагеря, а отправлять прямо в яму, но прежде – берут в отдельную разработку и обрабатывают хорошо, он знает, лично спускается в подвал. И ничего – полная тишина в тех обстоятельствах, когда и мертвый бы заговорил, страшно и вспоминать бывает. Вот так-то! Глубоко залегли «паны» и «бравые усатые маршалы», хорошо в штаны наложили, надолго. В Варшаве, правда, как он получает сведения от коллег, ситуация несколько иная. Оберштурмбаннфюрер смеется мысленно – наблюдаются «легкие колебания» даже не почвы, а воздуха. Два человека – профессор закрытого Варшавского университета Роман Рыбальски, и что-то наподобие бургомистра Варшавы, некто Стефан Стажыньски, были замечены в одно время возле центрального здания Польского Сбербанка, это и кое-что еще он слышал «под большой шнапс» на приеме у генерал-губернатора. Может – совпадение… почему бы и нет? А может – была какая-то встреча, происходят попытки «сорганизоваться». Прямо забавно. Всё это было и будет под полным контролем. И скорее всего – в ближайшее время ни к чему не приведет. Они не решатся. Они нас боятся, по справедливости чувствуют нашу мощь и знают, что у них нет никаких шансов – крах их армий с громкими именами, позор их на старинный манер разряженных маршалов, только и умеющих произносить помпезные слова, убедили надолго. Это одно. А кроме того, есть и другое. Азбука и хрестоматия дела говорят о том, что успех любого подполья возможен только при широкой поддержке местного населения, наличии у массы простых людей решимости содействовать сопротивлению. А вот этого, оберштурмбаннфюрер уверен, они дождутся не скоро! Люди смертельно боятся

и «загнаны под лавки», полностью покорны и счастливы, если им дают просто жить. У них отобрали страну, право учить детей, расстреливают их соседей и священников, и ничего – гора трупов в Быдгоще, сложенная в возмездие за немецкую кровь, и полный крах государства их вполне убедили. Правильно – люди хорошо знают, что за малейшее неповиновение будут сложены еще множество таких гор, и потому сидят «под лавками». Он читал когда-то в исторических книгах, что во времена Наполеона испанские женщины в деревнях давали съесть отравленную пищу своим детям, чтобы ее решились попробовать французские солдаты. Оберштурмбаннфюрер смеется – поляки не испанцы! Эти будут ждать милости судьбы и именно поэтому она для них навряд ли когда-то наступит, он как немец и офицер Рейха, человек долга, очень хорошо это понимает. Эти возможно будут издавать какие-то газетенки, чтобы читать их друг перед другом, стишки о «великой речи посполитой» тайно писать и печатать, конечно – в подобном они мастаки! Но работа в подполье имеет смысл, когда она начинает наносить врагу ощутимый урон, остальное – «игра в подполье», хотя и такую игру конечное же надо выкорчевывать с корнем, при первых ее ростках. Генерал-фашист Франко фактически создал в подполье политический режим, который в конечном итоге захватил и подчинил огромную страну. Даже если и происходит сейчас что-нибудь, то на таком уровне, который невозможно ощутить именно потому, что он не представляет опасности, ничтожен, мизерен, хотя конечно – надо быть начеку. В Варшаве «колеблется воздух»… Оно и понятно – столичный город, с десятилетиями устанавливавшимися и спаянными совместной учебой и службой связями политиков, дипломатов, высшего офицерского состава и аристократов. Там заставить все эти связи работать гораздо проще, сам бог велел, как говорится. Но это головная боль коллег из Варшавы, у него в Кракове всё спокойно и он приложит силы к тому, чтобы так это и было дальше. Всё настолько спокойно, он смеется, что хоть самому бери да разгоняй волны! Оно конечно должно быть, какое-то «подполье» – обычно, создание подполья становится одним из последних приказов перед капитуляцией или оставлением территории. Ведь многие их маршалы и генералы так и не были схвачены по результатам кампании, и навряд ли пустили себе пулю в лоб от позора – не герои. И их высший офицерский состав многочисленен. Значит – должны сорганизоваться, может быть даже пытаются, и враги Рейха конечно же будут способствовать этому всемерно. Но делается это пока – если вообще делается – так тихо, что не прощупать, и не по причине высокого профессионализма. Скорее всего – мизерно количество людей, а планы и цели более чем скромны и далеки от активного сопротивления. Время, когда бравый солдат в конфедератке, ставший подпольщиком, запланирует диверсию и решится выстрелить в немецкого солдата, еще очень и очень далеко, даже если и настанет. А их с Беккером и другими забота конечно же состоит в том, чтобы этого не произошло. И его, Бруно Мюллера, ощущение ситуации пока весьма оптимистично. Скорее всего – так ему кажется сегодня, в ощущении реальной ситуации – это будет по большей мере «игра в подполье». Они будут строить структуру и связи, стрелять в тех, кого считают предателями… И скорее всего будут больше убивать друг друга, нежели тех, кого называют «врагами»… Ну, что там еще… будут строить планы возрождения «великой польши», издавать прокламации и документы, мнить себя этим «отданными борьбе», реальной борьбой не занимаясь, сосредоточатся на пропаганде, с которой справятся жестокость и страх… И когда это начнется – наконец-то появится настоящая работа. Они, конечно, будут пытаться заниматься сбором и передачей разведывательной информации, на этом на первых порах видимо и будут сосредоточены их цели… Вот это – более серьезно и может нанести ущерб немецкому делу, и потребует быть начеку. Он и такие же, как он, итак начеку. Да только нет пока особенно по отношению к чему. Ты и рад бы составить и подать отчет о предпринятых акциях и мерах по «борьбе с подпольем», да где оно, это «подполье», в чем проявляет себя? Никакого подполья по фактам на данный момент нету и нет «акций и мер», хоть бери и выдумывай и то, и другое. Страх, жестокость и несгибаемая в ее решимости воля, мощь

армии и сокрушительный удар, который та нанесла, сделали свое дело надолго, способность и желание сопротивляться сломили, породили ощущение напрасности, безнадежности этого. Оттого-то все эти «колебания воздуха», чуть различимые коллегами в Варшаве, не вызывают никакого настоящего беспокойства и не скоро вызовут, потому что если и возникнет подполье, то навряд ли в обозримое время оно дойдет до реальных действий и начнет наносить ощутимый ущерб, вообще – окажется на это способно. А когда начнет пытаться – у людей долга, знающих свое дело, найдутся средства и опыт, чтобы заставить об этом пожалеть. Обычным полякам кажется вполне хорошо под немецким сапогом, даже если у них отобрать университеты, музеи, театры и гимназии для детей, во истину – есть народы, предназначенные и способные властвовать, а есть те, которые предназначены жить в рабстве, потому что так им лучше. И вправду ничтожества, он был о них более высокого мнения. Он после всего этого даже издалека, из окон «опеля», не может смотреть на поляков без презрения. Они, к слову, отлично сотрудничают, ряды «фольксов» и «шуцманов» пополняются ими чуть ли не с первых дней вступления немецких войск в город, сотрудничают чиновники и структуры, всё это позволяет быстро и достаточно исправно наладить жизнь в самом Кракове и на территории генерал-губернаторства в целом.

…Это – с точки зрения целей. Но с точки зрения оценки его действий во время операции, касательно чего у него были сомнения не меньшие, всё тоже на удивление отлично. Беккер, после успеха видевший главой краковской полиции только его и не желавший слышать никаких возражений, превзошел сам себя – представил его в рапортах генерал-губернатору Франку, в Высший штаб СС и даже еще дальше наверх как своего теснейшего соратника, с которым полностью делил организацию и осуществление операции «Sonderaktion Krakau», так что, как дошло до него именно по его каналам, сам Фюрер несколько раз упомянул его, Бруно Мюллера имя, как пример «служения долгу» и «решительности, которая ведет к успеху дела и наносит врагу сокрушительный удар». Он был горд собой от этого, как и всякий истинный немец в подобном случае. Немец обязан беззаветно и самоотверженно служить долгу, делу Фюрера и Великой Германии, должен быть готов не задумываясь отдать за это жизнь, Фюрер всегда говорит об этом, но немец имеет право на справедливую, наполняющую гордостью его сердце награду. И нет наверное более высокой награды для немца, нежели быть упомянутым в словах Фюрера, существовать в мыслях Фюрера. Правда, лишь подумаешь, что он, Бруно Мюллер, всего полгода назад бывший обычным ретивым начальником регионального «гестапо» в Вильгельмсхаффене, ныне существует для Фюрера – как ближайшие соратники, Геринг и доктор Геббельс, его главный шеф Гиммлер – и кажется Фюреру примером качеств истинного немца, начинаешь задыхаться от переполняющих чувств, вот ей-богу, он и не ожидал от себя подобной сентиментальности! Это, в сочетании с хорошим деланием дела и с теми моментами, когда ты смотришь на толпу ничтожных овец, очкатых клопов и червей в зале и ощущаешь себя их Судьбой – и есть счастье. Подобное и должно быть счастьем для истинного немца. «Впрочем» – когда он, Бруно Мюллер, думает о таком, его мысли начинают казаться ему мурлыканьем – «если рано или поздно всё это приведет к тому, что в нем увидят не командира роты на передовой и мясника, а скажем, начальника департамента в Главном управлении в Берлине или главу „гестапо“ в каком-то большом городе Рейха, и он сможет делать дело дома, то подобное тоже будет прекрасным дополнение к награде!» А для того, чтобы всё это стало возможным, очевидно надо было принять участие в кампании, организовать и осуществить арест профессоров, выйти в блестяще провернутом деле на какой-то иной уровень не просто карьеры, но собственного развития как немца и человека долга, преодолеть с ним остатки «пораженнчества», которых не должно быть в солдатах и офицерах Фюрера, в немцах будущего (оберштурмбаннфюрер справедливо признается в наличии их в себе). И нужно было, конечно же, следуя всей дальнейшей логике, вступить вместе с Беккером в серьезную игру и принять предложение поста начальника полиции безопасности и СД в Кракове: должности, в которой на него смотрят

и генерал-губернатор, и высшие чины СС, и наверняка сам Фюрер. Короче – надо было согласиться на уговоры и изначальные планы Беккера, и он согласился. Если это путь к его заветным целям – стоит потерпеть. Этот путь оказывается витиеват, но что поделаешь! А вдруг он и не может быть в его случае и судьбе никаким иным? Злая у него судьба – он хочет делать дело в Рейхе, а в нем видят идеального человека для решения сложных задач где-нибудь в самой гуще новой кампании, потому что знают, как он умеет делать то, что должен. Однако, заветная мечта – прочно вернуться в Рейх, и к ней он стремится. И будет идти. И кажется – ничего не бывает случайно или напрасно. Он подчинился приказу и принял участие в кампании, хотя вовсе не горел. Он блестяще, легендарно организовал и провернул арест очкатых клопов, хотя считал это поначалу опасной и напрасной глупостью, чуть ли не безумной и безответственной наглостью, чреватой последствиями непредсказуемыми и весьма дурными. И открыл в этом деле для себя совершенно иные истины и горизонты, которые, теперь он уверен, его будущему как человека долга послужат самым принципиальным образом, хоть изначально плевался злостью и недовольством, чертыхался и исходил опасениями, но просто был готовым как привык, достойно и блестяще исполнить положенное. Отлично понимая дальний задел Беккера, решившего использовать его служебные качества и таланты, сколько вообще возможно, он не хотел оседать в Кракове и принимать пост начальника обеих полиций. Давая так откровенно попользоваться собой, без надлежащих для самого себя выгод. Да и сейчас до конца не хочет и не уверен, говоря по чести, просто с чертыханиями про себя согласился и поддался на уговоры, понимая, что другой дороги всё равно нет и откажись он – лишь разочарует в себе и погубит те капли «сливок», успеха и славы, реальных возможностей, которые Беккер милостиво отвел ему в провернутом деле. Однако, именно поэтому в конце концов он удостоился упоминания Фюрером, всё более явно обретает уважение и признание больших «бонз» в Кракове, местных и берлинских, начинает затаенно и с трепетом ощущать и вправду огромные возможности для себя и независимые позиции в игре с Беккером, который кажется не ожидал, что оберштурмбаннфюрер СС Бруно Мюллер, ретивый глава провинциального «гестапо» и всего лишь командир айнзацкоманды, верностью долгу и огромным служебным талантом может преподнести сюрприз и прийтись по душе очень многим, стоящим гораздо выше. И обретает весьма ощутимый шанс переиграть, обойти чертового проныру, приблизиться к целям и мечтам, которые важны уже ему самому. Вот и получается, что ничего случайного и напрасного нет, да-да! И путь к цели может быть витиеват и поначалу ведет кажется чуть ли не вообще в другую сторону. И оказываешься вынужденным делать то, что прямо противоположно желаниями и мечтам, но в конце концов именно так к заветному и движешься. Долг требует постоянно учиться, он понимает это день ото дня всё яснее и так и делает. И всё это так даже несмотря на то, что он по прежнему не любит Краков, по многим и разным причинам…

…Впрочем, он не может пока особенно на что-то сетовать и вполне доволен должностью и тем, что поддался уговорам. Особенной работы пока нет, как уже сказано, приходится больше ее изображать, нежели делать. В Варшаве ощущаются «колебания воздуха», но в Кракове пока всё спокойно и подполье, если сорганизуется, активно проявит себя здесь не скоро, а он уже выстраивает изнанку краковской жизни так, что бы этого не случилось. Он держит руку на пульсе, он стряхнул пыль с сети бывших осведомителей польской полиции, он выстраивает работу учреждений так, чтобы происходящее в них было максимально прозрачным и любые «колебания» и «движения» можно было отследить – это на самом деле не так сложно, если ты умеешь делать свою работу, есть куча административных и кадровых приемов, наконец – у него самые разные источники информации, и согласно им царит мертвая тишина. Арест профессоров, закрытие университетов и гимназий, политика внесудебных ликвидаций или псевдосудебных расправ, все прочие вещи за этот короткий срок очевидно указали полякам на участь, которая их ожидает, и что? А ничего. Никаких попыток организовать активное сопротивле-

ние. Они смотрят, как исчезают их соседи и священники, как у них отбирают остатки национального достоинства, и никакого внятного брожения, не то что попытки сопротивляться. Самое забавное, что демарш и брожение исходили в эти месяцы именно от арестованных профессоров, от очкатых клопов-интеллигентов, но вовсе не от осевших на нелегальном положении военных и осколков чиновничества, а значит – политика интеллектуальной и духовной «кастрации» поляков, нейтрализации интеллигенции, по истине верна и мудра. А если попыток активного сопротивления не произошло сразу – на остатках недавно работавших структур, во власти еще живого ощущения собственной независимой страны, на волне стыда за поражение и ненависти к ним, немцам, когда не сложно вовлечь в работу и организовать на рискованные акции массу людей, то возникнут ли они? А ведь это, если попытаться мыслить с их позиций, так важно – показать населению конкретными мерами, что польская власть осталась и поляки будут бороться, поддерживать таким образом веру и надежду на то, что «освобождение» возможно! Значит – они сломлены пережитой катастрофой и нет как раз именно ощущения этой надежды, возможности что-то изменить, и конечно – по справедливости нет. Ему даже интересно – что же еще должно произойти, чтобы ненависть и стыд в душах врагов стали решимостью действовать и повиновением тому, кто способен на дело и сопротивление организовать? Да посмотрите на поляков – им вполне хорошо под тяжелым сапогом и совершенным немецким порядком, они рады, если пока есть работа и какая-то безопасность, живут их маленькими жизнями и счастливы, что в карательные списки включают соседей, а не их самих. Он может быть снова ошибается, но не поляки сделают большие проблемы Великой Германии в ее планах и много времени пройдет, прежде чем возникнет опасность активного сопротивления с их стороны. Отправляясь в кампанию, офицеры СС и СД были уверены, что привести местное население к покорности после разгрома потребует гораздо больших хлопот и усилий, вот ей-богу, и были готовы к гораздо худшему. Угроза немедленного начала всеобщего активного сопротивления оценивалась – учитывая исторически сложившиеся национальные и имперские претензии поляков – настолько высоко, что именно это и породило идею беспрецедентно жестокими мерами задавить возможность такого сопротивления в корне, основе. Отсюда та политика репрессий против интеллигенции, внесудебных ликвидаций или бессрочного заключения в концлагерь, то есть духовной и интеллектуальной «кастрации» поляков (генерал-губернатор так назвал это на заседании неделю назад, и всем очень понравилось), которую он и службы генерал-губернаторства в целом сейчас активно воплощают в жизнь, которая была опробована в осуществленной им акции 6 ноября. И что? А ничего, как уже сказано. Цели достигнуты – паны залезли под лавки, подполье, если оно какое-то и оставлено перед подписанием капитуляции и бегством, затаилось в последней глубине и никаких активных действий в ближайшее время, он уверен, не планируется. А значит – наведением ужаса, безжалостно жестокими и в этом последовательными мерами, вправду возможно привести к полному подчинению, по крайней мере – поляков и на данный момент. И именно в этом состоит высшая политическая мудрость и истина, а не в осторожности и умеренности. И значит – он был не прав. И должен многому учиться. Он признает. Основная работа пока – выстраивание агентурной сети, организация общего порядка, вербовка сотрудничающих… И еще – осуществление по старому методу «тихих исчезновений и ликвидаций», превращаемых генерал-губернатором сейчас в настоящую, с долгим заделом политику: тут есть чуть больше забот, это требует достаточно плотных усилий… Подвалы в здании на Поморской полны и ему приходится самому пару раз в день туда спускаться… впрочем, он смеется в мыслях, пока укладывается в обычный рабочий день! И у него, счастье, достаточно умные, цепко и на лету схватывающие дело, исполнительные секретари и унтеры, «замами» и начальниками отделов он тоже доволен. Дело делать легко и в радость, когда соратники и подчиненные не просто имеют опыт и знают, чем занимаются, а еще как и ты сам – до конца преданы общему делу и долгу, рьяны в службе, поймут с полуслова и в точности выполнят приказ. Во всем этом сплочены.

Репрессии и «чистка» интеллигенции, потенциально опасных – политика с заделом, начавшаяся с организованной им акции. Он иногда даже не может понять до конца, что с блеском провернутое им дело, далеко не самое масштабное из бывших, стало историческим событием и началом еще большего, целой политики, в которой будут перемолоты тысячи, многие тысячи. Что он, провинциальный «гестаповский» служака, пусть даже талантливый и вдохновенный в деле, подчас похожий в выполнении приказа на художника, который рисует полотно реальных событий и обстоятельств, смертей и краха чьих-нибудь судеб, в акции 6 ноября вышел на совершенно иной, невообразимый уровень. Стал исторической персоной, которая существует для Фюрера как пример служения долгу и качеств настоящего немца. Блестяще выполнил долг, заманил очкатых клопов как детей в западню, отправил их гнить в концлагере и так – вошел в историю. Стал легендарной, исторической персоной, руками которой состоялось славное и такое же легендарное, обреченное остаться в веках дело! Да-да – он не боится высоких слов и не стесняется произносить это в мыслях, ибо такова правда. До сих пор не укладывающаяся до конца в уме. Он только еще раз поражается, какие же огромные, невероятные и в большинстве случаев недосягаемые возможности, открывает подчас перед людьми долга, верными сынами нации и солдатами Фюрера служба! Их служба требует беззаветной преданности, готовности подчиняться и исполнять долг любой ценой, рьяно и не жалея себя, проявляя недюжинное вдохновение, искать к этому наилучшие пути, наконец – если будет нужно и настанет такой момент, отдать во имя долга и дела нации жизнь. Она велика именно тем, что бесконечное требует и обязывает к жертве, а вознаграждает, осязаемо дает взамен мало, оставляет лишь нравственное удовлетворение от преданности долгу и великим, значимым для всех целям. Однако, случается и так, что именно беззаветно преданным ей и долгу детям нации, о награде не думавшим или как он – даже позволявшим положенную по праву награду у себя отнять, она дарит награду, вышей которой нет: войти славными делами в историю и быть в мыслях Фюрера. Очкатые клопы, среди которых были и евреи (тем из концлагеря не выйти ни в жизнь), годами горбились и сидели над столами и книгами, теряли зрение и что-то там писали, рождали… завоевывали себе имя. А он вошел в историю одним махом, просто сумев талантливо выполнить долг, обвести их вокруг пальца, сгрести в фургоны и обречь на положенную судьбу. Талантом воли, действия и преданности долгу – единственным настоящим талантом, великим и нравственным, он убежден. Он и был тогда их Судьбой. И именно этим и сделал себе легендарное, историческое имя. Оставаясь при этом скромным провинциальным служакой и офицером СС среднего чина. И возможность этого ему дала их великая, требующая преданности и беспрекословного подчинения, таланта воли и действия Служба. Делу нации, Фюреру, долгу. Великой стране. Тысячи таких же клопов и прочих – шляхта, отставные офицеры и слишком наглый клир, точно так же будут обречены теперь отправиться в концлагерь или вообще сгинуть. Многие тысячи, многие. Это и происходит собственно, уже. В том числе – его руками и при его, любящего делать дело лицом к лицу и с максимальным эффектом, непосредственном участии. Подполья нет и в ближайшее время не будет, по крайней мере – так, чтобы оное можно было ощутить, начав принимать соответствующие, предписанные и строго востребованные службой меры. А он всё равно превращает туши в подвалах на Поморской в фарш, стремясь выудить хоть какую-то информацию или удачей нащупать ниточки и концы, пускай малые. В надежде на это. Просто стараясь до конца убедиться и удостовериться, что «тишина» под покровом краковской жизни ему не кажется, он ничего не упустил и непосредственной угрозы акций и вреда подполья нет. Он в этом мастер, ас. Это правда. Он вообще долг, службу и работу знает, исполнять блестяще и с душой, преданностью и чувством ответственности умеет, оттого так и ценим. Это тоже правда. Однако, все эти события, означающие начало серьезной политики, больше головная боль прокуроров, оставшихся от Польши судей да еще присланных специально для этого «бонз» партии и СС из Берлина. И сегодня, и далее. Службы и ведомства его, Бруно Мюллера, начальника обеих столичных полиций, это

касается, но не целиком. «Опасный элемент» будут проводить через скорые суды или внесудебные казни, тайные ликвидации, на нем лишь арест и приговор, то есть вопреки кажимости – возня вовсе не такая уж большая. Основная его работа – подполье, сопротивление, предатели, с ворохом же обычных полицейских задач прекрасно справляются его «замы» и главные подчиненные. И потому настоящей, серьезной работы, которая дала бы раскрыть себя, впечатление от ноябрьской акции усилить – тоже пока нет. Хоть выдумывай. Акции подполья и борьбу с ним. А что… Если от скуки задаться такой целью, то может выйти по результатам и как процесс блестяще! Только нужно принять решение и увидеть прежде его целесообразность, умело продумать фабулу, чтобы если кто даже и поймет – не посмел подать вида. Ведь представление с якобы настоящим подпольем, которое он конечно же сумеет организовать блестяще, если придется, вызовет с одной стороны – пафосные отчеты в Берлин в духе «люди долга не дремлют» (читай Беккер и остальные), но с другой породит тревогу и морщины на лбу… На фоне побед, всеобщего безграничного энтузиазма, торжества немецкой воли и полной запуганности, подавленности врага – чувства неприятные, омрачающие… А потому – оснований для этого пока нет, время и повод не настали… Да! Еще часть более-менее серьезных забот – всё, связанное с масштабным, вступившим в окончательную фазу отъемом предприятий у евреев. Хотя самое забавное, что даже с евреями нет на данный момент никаких особых проблем. У властей Рейха и генерал-губернаторства нет пока определенных планов и представлений, что делать с евреями, строго говоря – следует признать, что с поляками по сути обходятся сейчас жестче. Он пристально наблюдал за поведением евреев в конце сентября, во время операции на Сане, когда гнал толпы евреев-беженцев на сторону русских. С этими просто – они проявляют удивительную способность к самоорганизации. Запри их в любые рамки и условия, обставь флажками со всех сторон – туда не смей ступить, этого не посмей сделать, и что же? И не заметишь, как они приспособятся, приучатся выживать в новых реалиях, сорганизуются и сумеют наладить привычную для себя жизнь, насколько это вообще возможно. Забавно ейбогу, и интересно наблюдать – кромсай муравейник так и эдак, но не заметишь, как в том, что от него осталось, снова забурлит жизнь, потянутся колонки насекомых, совершающих привычную работу, у которых расписаны роли. Вот и тут – с ними нет пока особой головной боли, власти генерал-губернаторства не тратят ни йоты денег, сил и энергии на организацию их жизни, те всё делают сами и счастливы, что им оставляют такую возможность. Кажется – с ними можно делать, что захочешь до тех пор, пока им оставляют возможность самим сорганизоваться и наладить их жизнь. Главное – указать им на правила и рамки, на то, что они должны, остальное они сделают сами. Они полностью управляемы и манипулируемы извне, покорны приказам и совершаемому над ними насилию – он так и продиктовал недавно для отчета, который от него потребовали. Ведь это и вправду важные наблюдения и выводы, потому что рано или поздно – с ними начнется серьезная работа. Создали еще в сентябре их «комитет», который полностью ответственен за их жизнь и сотрудничество с властями. И что же – они раскрыли какие-то тайные их каморки, вынули отложенное, организовали оплату и поставку лекарств в собственную больницу, трудовые курсы для беженцев и т. д. Потребовали от комитета – поставлять каждый месяц определенное количество людей для подневольных работ в Рейхе и на предприятиях в окрестностях Кракова, иначе власти будут изымать насильственно. И что? Сами же находят среди «своих» тех, кого выдают для этой участи, в нужном количестве. Почти сразу после ареста профессоров был издан указ о ношении евреями Кракова с 18 ноября нарукавной повязки (с позавчера это распространено на всю территорию генерал-губернаторства). И вот, пара дней – и их предприятия уже вовсю шили эти особые повязки, люди получали работу и даже из этой ситуации они умудрились извлечь выгоду. Они приспособятся ко всему. Кажется, что если надо будет повести их на убой – они сами себя выстроят. Посади еврея на край им самим вырытой могилы, чтобы застрелить, и пожелай оттереть перед этим замазавшиеся в земле и грязи сапоги – тот подождет, пока ты закончишь и передернешь затвор,

в глотку тебе не вцепится. Да с ними по большому счету можно сделать всё, что угодно и будет необходимо. Всё это он ясно изложил в качестве наблюдений в отчете. Он теперь понимает, отчего и поляки готовы проглотить всё и покорятся чему угодно, если на них как следует «шикнуть» – от евреев этого и набрались, недаром жили с ними бок о бок веками, так что даже, говорят, их главный борец за свободу – и тот еврей. Фюрер не даром провозгласил с самого начала – от евреев, от их врастания в тело немецкого народа, в немецкий дух пришли упадок и пораженчество, от этого стало возможным поставить немцев на колени, и возрождение немцев и немецкого духа требует вырезать эту нечисть из тела нации как опухоль, и их самих, и ими привнесенное! Он, Бруно Мюллер, простой служака и человек долга, понял как прав Фюрер именно здесь, в Польше, во время кампании и сейчас. От этого с поляками нынче можно сделать всё, что захочешь, точно. От этого они ведут себя как евреи и покорны пришедшим в их дом немцам, готовы терпеть «до лучших времен» что угодно…

…В общем – он, хоть и не хотел, но всё же поддался уговорам и застрял в Кракове, и пока особенных причин сожалеть у него нет. Они с Беккером пока ладят, как два взаимно заинтересованных друг в друге человека, изображают тепло и дружбу, да он и вправду не ожидал от Беккера честности по отношению к себе в рапортах. Он и сейчас до конца не хочет и предложи ему завтра перевод в Рейх – согласится без колебаний. Он немец, он хорошо чувствует себя дома. Но долг есть долг, и если во имя заветной цели нужно потерпеть – он немец, а немцы умеют ждать. Скука зеленая в этом Кракове, всё просто. Тоска. Он знает, что ему нужно, чтобы разлука с любимой Германией была для него не так тягостна, но тут этого не достать. Беккер и другие любят музыку и всё тянут его на концерты, но музыка ему всегда была безразлична. До ресторанов он и сам охотник, но в туда хорошо идти с сердечной компанией, с людьми, которым ты доверяешь, чтобы за шнапсом завязать настоящий немецкий разговор, от души, а такой компании тут нет и сколотить ее – неизвестно выйдет ли. Тут все пока пытаются держать нюх по ветру и понять, что можно ухватить из пирога только что созданного генерал-губернаторства, а пирог этот обещает быть еще каким жирным! Тут пока каждый каждому – конкурент, связи не выстроены, кому можно доверять, а кому нет непонятно, все друг друга издалека щупают – осторожно, подозрительно, и от напряжения невозможно избавиться даже за столом в ресторане, с якобы дружеской компанией. Создается аппарат власти, выстраивается иерархия, делятся должности и нити влияния… И за это, то есть кучу самых соблазнительных возможностей и перспектив, часто на грани дозволенного, идет нешуточная борьба… Так что в те несколько вечеров, что он сидел с сослуживцами и офицерами из службы генерал-губернатора в «Циганерии» и «Бизанке», после нескольких рюмок шнапса ему становилось тоскливо и пусто, а когда начинали играть танго или дрыгать ногами – так вообще тошно и он прощался, находил приемлемые отговорки и уезжал домой. Хорошо бы конечно закрутить роман с какой-то из здешних полек – блондинок, так напоминающих ему юность в Страсбурге и французских женщин! О, редко что может быть красивее и вожделеннее настоящей француженки, и в особенности – эльзаски! Он иногда смотрит на белокурую польку в ресторане и вспоминает себя лет в пятнадцать, когда верхом мечтаний была ночь с стройной француженкой немного постарше, с волосами цвета соломы и роскошной спиной, которую они так любят выставлять на показ! Вот, если бы ему случилось затянуть одну такую в постель, Краков уже не казался бы ему так неприятным, вот ей-богу! И что же? Хоть кто-нибудь из его новых товарищей и собутыльников попытался понять, что ему нужно в душе и сосватать ему какое-то местное чудо, белокурое и стройное? Да где там! Зато Беккер снова сегодня с утра тянет его на концерт! Да какого черта, в самом деле! Работа – работой, но у него уже три месяца не было женщины и если так пойдет дальше, то он снова начнет забивать до смерти заключенных, иначе нервы в порядок не привести. А впрочем – пусть будет хоть концерт, ей-богу. Сегодня скука что-то в особенности зелена…

Глава пятая

Дурман

«Ладно, черт с тобой! Схожу я с тобой сегодня на концерт, уговорил!» – мысленно произносит оберштурмбаннфюрер Бруно Мюллер, глядя в лицо начальнику полиции генерал-губернаторства Герберту Беккеру, вслух же говорит – я бесконечно благодарен герру групеннфюреру за возможность провести время в его компании и истинно по немецки! Они вскидывают руки и прощаются до вечера.

Бруно Мюллер усмехается себе – эка он завернул, «истинно по немецки»! Умеет же, черт, сказать иногда словцо, если найдет вдохновение! А впрочем, всё верно – немца, как его любят рисовать, попробуй представь без мления от романсов Шуберта и Гуго Вольфа, восхищения сонатами Бетховена и «настоящей немецкой музыкой» в симфониях Брамса. Да знает, знает он все эти имена, и музыку их слыхивал не раз, ведь недаром учил в университете право – просто не любит. Вот не любит и всё! Ну не понимает, не чувствует, равнодушен! Вот ведь какая вещь – бывают настоящие немцы, люди долга, полезные их стране и нации, о которых даже иногда вспоминает Фюрер, но которые при этом терпеть не могут всех этих ваших «бахов», «брамсов», «моцартов» и кого там еще. Бывают и имеют право быть! Это если в шутку. А если серьезно – пес с ним, пусть будет хоть концерт с Брамсом и Бетховеном, со сладкими улыбками Беккера и фальшивыми объятиями и разговорами адъютантов генерал-губернатора, с которыми они уже три раза пили шнапс и считаются лучшими друзьями, но только не одиночество в пустой квартире… Сегодня оно ему почему-то, в отличие от обычного, в особенности невтерпеж…

…О, ну конечно! Бетховен и Моцарт, и вместо Брамса – его учитель, жена которого барахталась с ним ногами вверх, Шуман. Кто бы сомневался! Да и черт с ним – оберштурмбаннфюрер чувствует сейчас себя в зале маленького ресторанчика, во двориках на улице Флорианской, неожиданно замечательно. Ресторанчик – один из тех, которые называются «Nur fur Deutsche», но в которые немцы всё равно конечно же протаскивают своих польских шлюх. Однако – этот значительно лучше: он не просто для немцев, а только для высших чинов армии, СС и генерал-губернаторства, и здесь можно чувствовать себя уверенным, что иное, преданное делу Родины так же, как ведру со шнапсом рыло, не начнет вдруг блевать, бить об голову собутыльника стакан или горланя «Хорст Вессель», дрыгать в разные стороны ногами. Тут спокойно и уютно, оформленный в стиле венского барокко небольшой зал, тонущий во внутренних двориках зданий, и потому – тишина и словно бы отключенность от всего окружающего пространства. Генерал-губернатора, весьма расположенного покутить и провести время в неофициальной обстановке, среди самых близких, сегодня нет, но есть секретарь того Бюллер, специальный посланник Фюрера, министр Зейсс-Инкварт, поставленный заместителем генерал-губернатора, австрияк и меломан, который, говорят, особенно рвался послушать какую-то экстраординарную польскую пианистку. Есть конечно же Беккер, который его сюда и вытащил, его и Беккера начальник Крюгер, обергруппенфюрер СС, перед которым Беккер обычно ведет себя с таким дружелюбием и настолько сладкой преданностью в движениях и разговорах, что кажется – готов заложить особняк в Берлине, если герр обергруппенфюрер попросит занять ему денег для вечерних карт. Во всем этом окружении ему, Бруно Мюллеру, неожиданно очень хорошо. Быть может – потому что эти высшие чины и старшие коллеги весьма приветливы и уважительны к нему, и даже на удивление Инкварт, утонченный и безжалостный садист, который здороваясь, смотрит на него с таким выражением лица и глаз, словно говорит: «вот таким и должен быть наш человек и настоящий немец!». Редкостная и весьма

высокопоставленная, ценимая Фюрером скотина, с которой надо быть очень осторожным, один из настоящих «бонз». Он, Бруно Мюллер, спокойно может забить какого-то врага или предателя до смерти ногами, и поделом – с врагами так и должно обходиться. Но он – цельный и честный человек, он ничего не пытается из себя изображать, будет поступать так и еще жестче, и при этом останется самим собой и нравственно себе не изменит. Да, именно нравственно, потому что не должно быть в человеке никаких преград делать то, что требует долг. А Инкварт, способный спокойно организовать за вечер арест и расстрел нескольких десятков учителей и священников, при этом – посмотри на его поведение, послушай разговоры – ни дать ни взять музыкальный критик с утонченной душой и трепещущим эстетическим вкусом! Однако – быть может именно поэтому кажется искреннее уважение и признание Инкварта ему, Бруно Мюллеру, в особенности приятно и льстит. Тот – настоящее историческое лицо, министр Фюрера, до этого – министр иностранных дел Австрии, стеливший ковер для победных шагов Фюрера во время аншлюса. Этот человек уже успел очень многое сделать для дела Рейха и хоть конечно, по ближайшему рассмотрению трудно не признать, что на личном уровне он редкоснейшая и опасная скотина, которая, если не дай бог захочет, прожует и перемелет любого вокруг, но умалить его значение в общем деле нельзя, как нельзя не отдать ему должного. Все его панически боятся, ходят перед ним на цыпочках, начинают разговор с ним с самых витиеватых и высокопарных славословий, зная наверняка, что каждое важное слово и действие отложится у него в памяти и будет им, как личным порученцем и представителем Фюрера, донесено до Фюрера в точности и с собственными, могущими в том числе и приговорить, выводами и комментариями. Он сам при этом пытается изображать всецелую отданность делу и неотделимую от подобного демократичность, моментально якобы переходит «накоротко» в разговоре с новым человеком – мол, «оставим чепуху, давайте сразу к делу», но видно, что ждет от окружающих танцев на цыпочках как чего-то должного и соответствующего приличиям, и жестоко накажет любого, кто подобным пренебрежет, чем в конечном итоге и сохраняет между собой и ними внятный барьер. А вот с ним почему-то не так – с ним Инкварт с самого начала вправду пожелал сойтись как можно ближе, подчеркнуто высказывает ему при любых случаях уважение и расположение, старается поднимать его до себя как равного, хотя их разделяет далеко не один ярус иерархии, и всё это начинает злить и тревожить Беккера, который видит, что он, оберштурмбаннфюрер Бруно Мюллер, приобретает самостоятельное, не контролируемое Беккером значение для высших лиц генерал-губернаторства. И всё это вместе конечно же радует и трогает его. Вот и сегодня, только Инкварт поздоровался с ним, как тут же в голос присовокупил – «я ничуть не удивлен увидеть в этом зале нашего начальника краковской полиции, верного стража, оберегающего наш и всеобщий покой! С самого первого взгляда на него я понял, что у этого человека возвышенная и чувствительная к прекрасному душа истинного немца!» Все одобрительно рассмеялись и начали выказывать ему с этого момента особенное благорасположение, Беккер же мимолетно сверкнул глазами, но залился таким дружеским добродушием на лице, словно обнаружил в нем пропавшего в детстве младшего брата. И у него, Бруно Мюллера, от всего этого на душе особенно радостно и приятно, он в отличном настроении и рад, что пришел… Для какого такого дела министр Зейсс-Инкварт заприметил его и зачем он тому так понадобился, Мюллер уверен, что вскорости узнает, и он готов… Уж если с кем-нибудь и сходиться, так только с подобного уровня людьми, им быть полезным и лишь на этом уровне позволить увлечь себя в какую-то игру. Короче – он сегодня ощущает себя здесь в своей тарелке и черт знает, если и дальше всё так пойдет, кажется прирастет в этом Кракове, который так ему с самого начала пришелся не по душе. Да любой другой, он часто смеется, неизвестно что отдал бы и неизвестно сколько и какие сапоги лизал, только бы получить назначение в Краков и «прирасти» тут, да еще на такой должности, с которой ты виден всем самым верхним чинам! В Кракове нынче делится такой пирог, что даже немногих крох его хватит до конца дней – при мыслях об этом глаза оберштурмбаннфюрера, обычно привыкшие быть мелкими щел-

ками, напротив, чуть приоткрываются, а взгляд, устремляющийся из них, становится похожим на врывающийся в тело клинок. Это сложная вещь, дерьмо, раздери черт! С одной стороны – кто нынче не пытается стряхнуть в карман крошки от пирога, особенно в генерал-губернаторстве? Кто этого не делает и ему ли, шефу тайной и общей полиции Кракова, об этом не знать, пусть даже он совсем недолго находится в должности? Он иногда знает это настолько хорошо и достоверно, что начинает от своей осведомленности и погруженности в происходящие дела испытывать страх. Он как будто бы «не знает» и «не видит», но если не дай бог дойдет до чего-то, то сама подобная осведомленность, не ставшая принятыми мерами, означает вину и приговор – ему ли, юристу и сотруднику полиции с опытом руководящей работы, не знать этого? Он в принципе может понять – трудно беззаветно отдавать себя делу, не попытавшись хоть сколько-нибудь подумать о будущем и собственных интересах, о семье, если она есть… он полностью не осуждает. Но долг есть долг, закон есть закон и Фюрер однозначно и неоднократно произносил с трибуны, что будет беспощаден к тем, кто оступится и изменит долгу, как бы беззаветна его преданность делу и долгу перед этим не была. Он помнит ту тайну казнь соратника-«эсэсовца» в 1938 году в Вильгельмсхаффене, которая прошла под его командованием… помнит свои тяжелые и смешанные чувства тогда. Штурмбаннфюрера СС приговорили к тайной ликвидации за воровство из окружной казны СС, всё должно было пройти тихо, человек должен был просто исчезнуть. Их, «эсэсовцев», воспитывали не просто в сознании беззаветной верности долгу и верховенства долга над всем – над чувствами, сомнениями, жалостью и состраданием, слышанными с церковных амвонов заповедями и самыми личными привязанностями. Их воспитывали в сознании того, что в служении долгу они все – братья, делающие одно дело и обязанные стоять друг за друга. И вот – он должен был казнить одного из своих братьев. Это было сложное дело, душевно сложное для него, ему было вовсе не так легко заставить себя сделать то, что он должен. «Но не этого ли именно требует долг» – подумал он тогда – «и не в этом ли мужество истинного немца, патриота и офицера СС: перебороть кажется всего себя, но сделать?» Он тогда отобрал семь наиболее надежных, до конца доверяющих ему сотрудников, спланировал акцию. Он помнит лицо этого человека, когда они молча вышли из окружавшей крыльцо его дома темени и обступили его. Тот всё понял, как-то сразу обмяк, стал похож на побитую собаку, не сопротивлялся, сам сел в машину и дал сделать с собой всё, что было должно. В течение всей дороги на пустырь и потом казни, у него было какое-то детское выражение обмяклости и растерянности на лице, смешанное с желанием извиниться, сказать «простите ребята, что же, вышло так». Он понимал, что это должно произойти и творимое с ним справедливо, и не сопротивлялся даже тогда, когда его стали привязывать к столбу и надели ему на глаза темную повязку, до последнего сохранял на лице выражение растерянности и желания извиниться. И все понимали, что происходящее справедливо и должно состояться. И всем, и ему, Бруно Мюллеру, оберштурмбаннфюреру СС и главе окружного «гестапо» в первую очередь, было тяжело и больно, потому что убивали брата, одного с ними человека дела и долга, своему долгу изменившего. Когда он решился и рявкнул коротко, зло и резко «фойе!», услышал мгновенный треск ружей и увидел обмякшее, повисшее на веревках возле столба тело, он вдруг обнаружил, что по его щекам катятся слезы. И его подчиненные видели это. И он этого не стеснялся и не считал, что проявил слабость, унизил себя и статус офицера СС, обязанного служить примером и вселять в подчиненных уверенность, откровенно позволив себе в их присутствии чувства. Они поняли его – он, их командир, невзирая на тяжесть, превозмог самого себя и заставил себя и их сделать то, что должно, исполнить долг, как бы это не было для души мучительно, стали ему после в особенности преданы. Они сами испытывали в тот момент нечто подобное – он видел, у него и вместе с ним учились высшей нравственной истине долга, службы и дела: что бы ты не чувствовал, обязан превозмочь себя, подняться над собой и вообще чем угодно, но выполнить долг и приказ, то единственное, что беспрекословно и превыше всего. Он же именно там и тогда понял, насколько долг перед делом и Германией

превыше всего и может потребовать, если понадобится и придется, полностью отвергнуть себя и быть может очень важное в себе, чуть ли не «последнее». А потому – этого, о чем он сейчас как-то непроизвольно, в общем ходе льющихся мыслей подумал, он боится и не любит. Делать это означает не просто ходить по лезвию бритвы, а обрекать себя на позор, справедливый и бесславный конец, который растопчет тебя, всю прежнюю жизнь и преданность делу и долгу. А тут всё это как-то по умолчанию бурлит, с совершенной законспирированностью делается и обсуждается, и он понимает, шкурой чувствует – чтобы стать здесь окончательно и по настоящему своим, окружающие должны в этом главном найти с ним ясный и внятный контакт, доверять ему и чувствовать себя с его стороны в безопасности и максимальной определенности. Он чувствует, что такой момент наступает и иначе ему просто не стать частью создаваемого здесь механизма власти. И ему очень тревожно, потому что он, похоже, именно в этом с окружающими как раз и не сойдется. Он слишком хорошо и воочию знает, чем подобное может кончиться. Он понимает, что когда всё в подобных случаях открывается, то головы самых верхних и главных, если только нет каких-то больших интриг, обычно не слетают – те слишком нужны для дела, а летят головы вот таких, как он, даже если они активно не замешаны, именно их превращают в жертв большой игры «бонз» и «козлов отпущения», отдают на справедливое и показательное судилище. И ему подчас мерещится, что когда он позволяет вовлечь себя в торжественные объятия и слышит «дорогой Бруно», он дает сковать себе руки и опутать себя веревками, надеть на себя полосатую робу смертника. Нет, ей-богу – ему иногда кажется, что чем всё это, так лучше промозглым и туманным осенним утром стоять со своей айнзацкомандой в оцеплении на берегу Сана и гнать окриками и прикладами через переправу евреев… Вот ей-богу.

Оберштурмбаннфюрер сейчас непроизвольно вспомнил тот случай, но вообще – обращался к нему в мыслях нередко, ибо тогда, почти два года назад, кажется уже окончательно то ли выучил, то ли просто уяснил для себя нерушимые в деле истины, сегодня верные для него в особенности. Он всё помнит. Их собственные чувства и чувства того человека, который увидел в них, молча выступивших из темноты неотвратимую, справедливую расплату, пришедшую судьбу, настигший его за предательство и проступок приговор. И поэтому не сопротивлялся, справедливость и неотвратимость совершаемого с ним понимал, чувствовал собственную вину и больше, как показалось тогда оберштурмбаннфюреру, норовил и порывался как-нибудь даже не оправдаться, а именно извиниться, просто так и не решился, не сумел выдавить из себя и слова, за всё время, пока его везли для казни на заброшенный и далекий пустырь, привязывали и делали остальное, положенное по процедуре, не произнес ни звука, пытался сказать то, что в эти последние мгновения переполняло его душу, одними только глазами. И касалось это, как оберштурмбаннфюреру казалось тогда и многократно думалось после, именно долга, который он предал, а они, поверх всего, что чувствовали, невзирая на тяжесть переживаний в их собственных сердцах, были обязаны и собирались исполнить. Он, казалось тогда, очевидно желал извиниться, был полон чувства вины за собственное предательство, случившуюся по слабости измену долгу, и это чувство сделало его покорным судьбе, враз обмякшим, понимающим беспрекословную справедливость расплаты и потому – готовым принять участь и даже исподволь не желающим хотя бы попытаться защитить отнимаемую жизнь, в конце концов так и не сумевшим сказать слова ни в извинение, ни в оправдание. Это было бы бесполезно и унизительно, конечно. Долг должен был быть исполнен, а казнь – обязана была произойти неумолимо и по справедливости, и поскольку речь шла всё же об офицере СС, то позволить себе подобное он не мог. Однако, более этого, кажется, в те последние мгновения им владело раскаяние, чувство вины и стыда, а потому – робкое, так и не ставшее словами, лишь застывшее во взгляде побитой собаки или же провинившегося, понимающего правильность наказания ребенка, желание извиниться. И это было понятно, правильно и во многом тоже неотвратимо, ибо речь шла всё же о немце, патриоте и офицере СС, человеке дела и долга, который

пускай и предал долг во власти слабости, но конечно нерушимо помнил и понимал главное – долг превыше всего. И потому ощущал вину, справедливость приговора и покорность судьбе. И в те мгновения, когда у него по справедливости отнимали жизнь – тайно, чтобы не опозорить не его имя даже, а общее дело и службу, которая дело и идеалы нации олицетворяет, одно название которой должно вселять уважение и трепет, веру в победу и дело, он порывался лишь извиниться, ибо чувствовал – предал, изменил, гадко и унизительно для всех и себя самого отступил, перед долгом и делом виноват. И этим невольно учил очень многому их… А они сами… О, они чувствовали тогда многое!.. От горечи и тяжести того, что требует от них долг, до сочувствия ему и даже где-то укора или обиды, что он, собственной слабостью и предательством заставляет их в этот момент делать вещи, для их душ по настоящему мучительные. Все чувствовали тяжесть, горечь и боль, ибо во имя того, что требует долг, в их верности долгу, обязаны были казнить одного с ними человека долга, соратника и брата. И для их сердец патриотов, преданных долгу и делу людей, которые спаяны чувством солидарности, общности дела и целей, верностью одним вещам, непререкаемым и святым, это было по настоящему тяжело. И невзирая на это, ни в ком и в нем, оберштурмбаннфюрере СС Бруно Мюллере – в первую очередь, не было сомнений, что требуемое долгом они выполнят и сделают непременно, как бы это ни было тяжело и именно вопреки всему, пусть даже справедливо пришедшей в их души боли. Так они учили тогда долг, путь и истины служения долгу. Они, братья в служении долгу и делу нации, воле великого человека, призванного подарить ей вечное будущее и торжество, казнили в те мгновения одного из собственных братьев, который святому для них всех и каждого истинного немца изменил – и так, в поступках и пролитой кровью, учили нерушимые истины долга. Он сам, оберштурмбаннфюрер СС и глава окружного «гестапо», который умел, не считаясь даже с последней жалостью, забивать насмерть врагов нации и Рейха, учил тогда эти истины – невольно покатившиеся по его щекам слезы и вопреки всему выполненный долг и приговор, были тому свидетельством, и собственным примером, ни чуть не стесняясь охвативших его, но мужественно преодоленных во имя долга и дела чувств, учил им остальных. И был понят. Понят по настоящему – тем пониманием, которое проникает в сердца и души солидарных в деле и служении долгу, в самых главных вещах и истинах людей, становится разделенностью и глубоким уважением. Он не был в том деле бесчувственным камнем, холодной машиной пусть даже целиком справедливого и неотвратимого приказа. Он был тогда настоящим немцем и человеком долга, верным делу патриотом и офицером СС, который испытывал горечь и боль, неотвратимые для себя в подобной ситуации чувства, но во имя долга сумел всё это преодолеть и собственным примером учил долгу остальных, с ним солидарных. И ни чуть его авторитет блестящего офицера и служаки не уронил: его подчиненные, специально отобранные им для той акции по личным качествам, поняли и в особенности зауважали его тогда, стали ему преданы необычайно и вплоть до того, что некоторых из них он взял с собой в кампанию, сначала – в состав айнзацкоманды, а теперь – в краковскую службу «гестапо». Всегда должны быть рядом хотя бы несколько человек, которые преданы тебе беспрекословно и до конца, в чем угодно. И на которых ты сам чувствуешь возможность в тяжелый момент полностью положиться, ибо спаян с ними пройденным, однажды возникшим взаимным доверием и вместе пролитой кровью, близостью в каких-то последних по важности вещах. Да и не могло конечно же быть иначе, ибо они, настоящие немцы и патриоты, люди дела и долга, учились тогда долгу – в поступках и друг у друга, были солидарны в обуревающих их немецкие души чувствах и в том, что исполняя долг и проливая кровь брата, постигали словно последнюю и главную нравственную истину. Долг и верность ему превыше всего – оберштурмбаннфюрер понял это тогда уже окончательно. И если исполнение долга требует совершить кажется самые последние, пусть даже очень и по справедливости тяжелые для души вещи – беспрекословно должно быть только и именно так, на пути к этому не должно остаться ничего, ни малейших преград, сомнений, колебаний или чего-то подобного. В этом состоят сама суть долга, главный

и высший нравственный долг. В этом достоинство и значение, годность и даже, кажется ему иногда – величие настоящего немца и человека долга, патриота и сына нации. Да-да – именно величие множества обычных людей, на своих местах служащих нации, долгу и общему делу, беспрекословно повинующихся воле Фюрера и долгу, как она диктует и очерчивает тот! И так чувствует любой настоящий немец и патриот, человек дела и долга, огромное множество их, служащих нации не просто одобрением и поддержкой, готовностью повиноваться, что стало ныне состоянием всех, за исключением быть может кучки подонков и предателей, которых неотвратимо настигает судьба, а именно бесконечностью конкретных поступков, на их важных для общего дела местах, больших и малых. Он уверен и знает это из всего опыта службы, соприкосновения со множеством коллег. Беспрекословно повиноваться долгу и выполнять тот, сколько дано силам, воле и чувству преданности – другого пути нет. И в человеке, который выбирает дорогой жизни служение долгу, нации и Фюреру, да вообще в любом немце, желающем считать и называть себя «настоящим», достойным самого слова, никаких преград перед выполнением того, что требует долг, быть не должно – если есть какая-то самая главная нравственная обязанность, словно вмещающая любые другие, то она именно такова! И тогда, во имя долга причиняя себе боль, идя против собственных чувств и мужественно поднимаясь над ними, превозмогая самого себя, он выучил и понял это уже на всю оставшуюся жизнь. Ощутил главное – сможет это, сумел переступить в себе через нечто, вправду способное послужить серьезной, быть может последней преградой, ибо будучи человеком долга, умеющим подчиняться, быть верным и преданным, беспрекословно исполнять то, что обязан, о чем бы не шла речь, в его душе настоящего немца и служаки он очень сильно ощущал солидарность с братьями и соратниками по общему делу. Возможно даже, что в его душе настоящего, преданного нации и ее делу, нравственно цельного немца, это чувство было выше и сильнее многих иных или вообще всего, за исключением чувства долга, безграничной верности и покорности долгу. Долг и верность долгу, готовность беспрекословно повиноваться и то, что требует долг исполнить, оказались в нем тогда выше всего – сострадания, чувства братства и солидарности, самых трепетных и важных для него принципов, которые казались ему от службы в СС неотделимыми. Долг над всем, а верность долгу любой ценой, переступая через себя и самого себя превозмогая – главная обязанность в служении долгу, на этом единственном для каждого настоящего немца пути. Он сам учил тогда эту высшую истину долга и службы, но собственным примером учил ей и остальных, испытывавших в душах те же мучительные, противоречивые чувства, силой его откровенности делал это на их глазах. Он настоящий немец, человек долга и патриот, офицер СС, и испытывал в эти мгновения именно то, что единственно мог, ибо во имя долга и повинуясь приказу казнил собрата, долгу изменившего, заставлял других исполнить приговор, его чувства были правомочны и человечны, как ни что иное, попросту неотвратимы, лишь внятно говорили в нем обо всем этом, без сомнения достойном и заслуживающем уважения. Но он сумел превозмочь в себе эти справедливые, неотвратимые чувства, взойти над ними, вопреки им сделать и исполнить то, что требует долг – таковы была тогда наука и постигаемая истина долга. Такова была наука долга, которую он тогда, на заброшенном пустыре в предместье Вильгельмсхаффена, учил сам и собственным примером, не стесняясь ни чувств, ни покатившихся по его щекам слез, преподавал подчиненным. И вместе с остальными, покорными его собственной воле командира и в особенности ставшими ему тогда братьями, был достоен и велик, поступал именно так, как единственно возможно и должно. А они, беспрекословно исполнявшие его команды и заранее, с тщательным разъяснением сути предстоящего подготовленные к акции, испытывали в эти мгновения то же самое, подобно ему, зло и сурово стискивали зубы и делали то, что должны, но бросали на него в иные моменты пристальные взгляды и ему казалось – словно ждали от него науки и примера, одобрения и поддержки, уверенности в том, что совершают, нравственно и для души тяжелом. Долг перед делом нации, Фюрером и службой над всем и исполнять его нужно любой ценой, что бы подоб-

ное не значило, переступая через себя и собственные чувства, быть может очень для себя важное и болезненное – они учили тогда эту высшую истину вместе, еще более становясь в их общем опыте, повязанные кровью и беспрекословной верностью долгу братьями. Он даже потом думал, что если бы ничего мучительного, противоречивого в этой ситуации не испытывал, остался в исполнении службы целиком твердым и неколебимым или же просто сдержал чувства за маской каменной холодности, решительности и верности приказу, вполне возможно не породил бы в подчиненных настоящего и безграничного уважения, урока долга, означающего умение подниматься в служении долгу над чем угодно, им бы не преподал. Так же – его немецкая откровенность, просто выразившая в те мгновения настоящность, цельность и честность его немецкой души, его высоту и мужество в служении долгу, стала для его подчиненных именно уроком, постижением главной истины: что бы ты по праву быть может не чувствовал, долг превыше всего, исполнить тот нужно любой ценой и зачастую требует делать тяжелые, мучительные вещи. И отношение к нему этих людей стало с тех пор похожим именно на почитание и то беспредельное уважение, которое означает полное доверие ему и готовность повиноваться ему в деле безоговорочно. Быть бесчувственным и бестрепетно покорным, исполняя долг – одно, в конечном итоге правильное и важное, ибо долг над всем. Однако что-то, быть может очень сильно и по праву, неотвратимо чувствовать, исполняя долг, но взойти над этим, преодолеть и превозмочь себя, вопреки всему и несмотря ни на что остаться верным, преданным и покорным долгу – вот истинное величие и высшая нравственная годность и обязанность! Для любого настоящего немца и сына нации. И конечно же – для мужественных и преданных, исполнительных и талантливых на их местах людей, которым служение нации и долгу есть не просто состояние души, а путь и вся жизнь, дело жизни. Долг, общий и главный, есть у любого настоящего немца как сына нации и патриота – долг одобрения, всемерной поддержки и покорности воле Фюрера, долг перед нацией и ее благом. Долг быть готовым во имя нации на что угодно – не колеблясь отдать жизнь, пожертвовать собой, безжалостно принуждать к покорности или уничтожать врагов, благословить на это собственных детей. Это дано в последние годы узнать каждому – речами Фюрера и его соратников, великих людей нации и времени с трибун, воодушевленной сплоченностью нации и жестокой расплатой за предательство и отступничество от общего дела, которой лично оберштурмбаннфюрер СС Бруно Мюллер способствовал на службе немало и вдохновенно. Этого с самого начала требовал от всей нации и каждого немца Фюрер. И есть беспрекословный, последний по высоте и силе, требующий беспредельной преданности долг службы множества людей, которые их мужеством и делами, верностью и рвением этот общий долг, покорность ему всех и каждого оберегают, на которых нация, ее дух и воля, благо и сплоченность, само ее будущее зиждутся. Эти люди – опора и надежда, соль и кость нации, ее настоящие дети и олицетворение ее духа, на их беззаветном служении долгу, общему и конкретно их, продиктованному местом в системе и чином, без преувеличения и излишних высоких слов зиждется всё, дело нации. Они должны быть настоящими немцами, беспрекословно верными долгу и готовыми в исполнении его совершить что угодно в особенности. И им, особенно же и гораздо более, чем простым немцам-обывателям, тоже верным детям нации, предписано беспрекословно подчиняться долгу, не знать в служении ему колебаний и сомнений, уметь восходить в этом над чем угодно, даже быть может очень важным, принципиальным и неотвратимым в самих себе. Трудно не испытать сострадания и чувства солидарности с подобным себе человеком долга, казня его за предательство. И конечно же – трудно не почувствовать тень жалости или какое-то последнее содрогание, превращая ногами в фарш щуплого писаку-профессора или отдавая на адские истязания молодую женщину-коммунистку, стараясь добраться через нее до заправил подполья. Более того – иногда можно испытывать подобное по праву. Даже наверное нельзя не испытать. Такие люди враги и к ним нужно не знать жалости, но тем не менее – это именно так и одно не противоречит другому. Они сами – люди долга, патриоты и верные сыны нации, а не бесчувствен-

ные камни или просто жестокие, холодные и не знающие боли в душе машины приказа, им не чуждо ни что человеческое, быть может даже и слабое. Но враг – это враг, к врагу и предателю нельзя знать жалости, так требует долг, который должен быть исполнен, невзирая ни на что и любой ценой. И потому их главный долг, их величие и моральность – всё это и многое другое уметь в служении делу и долгу безоговорочно в себе преодолевать, ради самого высшего растоптать и превозмочь. Они, верные дети и солдаты не просто нации, а Великого Фюрера, если так нужно для дела, должны уметь быть в особенности жестокими и не имеют права не на капли жалости даже, а хоть сколько-нибудь подобному поддаваться. Это он тогда, вместе с покорными его собственным командам людьми долга, понимал и чувствовал, воочию учил. Таким беспрекословно и окончательно стал для него с тех пор путь долга. Он поэтому часто бывает жесток безо всякого снисхождения, даже тени жалости уже не зная, ибо так требует долг и он за годы службы научился во имя долга преодолевать в себе что угодно, пусть и последнее. Даже солидарность с собратом. Оттого-то истории о свирепой ярости, с которой он, никогда не теряя контроля над собой, умеет расправляться и обходиться с врагами, сделали ему не просто легендарное и полное служебного уважения, а зловещее, заставляющее трепетать врагов и соратников имя. И во всех подобных случаях, будучи жестоким с врагами кажется до последнего, во имя долга и дела окунаясь в кровь по самую макушку, он ощущает себя достойным, нравственно значимым и подчас чуть ли не великим, ибо делает именно то, что должен, а в служении долгу и движении к целям нельзя знать преград или колебаний. Ибо жертвенно умеет переступать во имя долга против чего угодно, пускай даже в самом себе очень важного. И когда он, в припадке ярости, либо просто чтобы добиться цели, до хрипа или оглушающих воплей, луж крови и выпавших зубов, треска ломаемых костей, забивал в подвалах Ольденсбурга и Вильгельмсхаффена различных подонков и врагов, он делал это не потому, что не был способен испытывать жалость и какие-то чувства, а просто научившись в верности долгу, за годы службы и в различных ее перипетиях подобное преодолевать, душить в себе, отбрасывать в сторону безо всякого трепета. В работе над собой, в подчинении и преданности долгу сумев это. Перед ним были предатели, враги общего дела, великих целей и самого будущего нации, святых и нерушимых для всех истинных немцев вещей, и хоть их изувеченные лица и тела могли вызвать жалость, он по праву не чувствовал даже капли той и считал, что просто не имеет на это морального права. Да, именно морального, ибо долг над всем и в служении ему не должно быть колебаний и преград. Он остается настоящим немцем и человеком долга, даже когда во власти вещей, в которых не виноват заблуждается, его преданность долгу и делу в любом случае неизменна… это – если вспомнить о его недавней неправоте. И теперь, когда он выучивает уже какие-то самые последние истины долга и работы над собой как немцем, вытравливает в его немецкой душе остатки сомнений и увечий, он верит, что беспрекословное повиновение долгу всех и каждого, о чем бы не шла речь, станет залогом побед, торжества и великих свершений нации, каким бы ужасом они не становились для ее врагов… Обстановка сегодня тянет расслабиться и отдохнуть душой, получить удовольствие, но что значит человек долга и выработанная за многие годы привычка быть целиком отданным службе – от связанных с этим мыслей и воспоминаний не можешь отдалиться даже в такие моменты…

…Инкварт и Беккер, каждый на свой манер и по собственным мотивам, не переступая приличий статуса, вместе с тем обхаживают его сегодняшним вечером. С Беккером то понятно – над ним, оберштурмбаннфюрером СС Бруно Мюллером, главой столичной полиции, нужно удержать контроль, и сделать это сегодня лучше «пряником», то есть всячески демонстрируемым расположением и уважением… Впрочем, со времени акции и именно из желания удержать его при себе, со всей его полезностью для дела, Беккер старается быть с ним справедливым и честным ровно столько, кажется, сколько вообще способен. Зная о его служебном самолюбии и однажды пробежавшей между ними кошке, старается выказывать ему уважение и тянет его в общение накоротке с «бонзами», высшими чинами иерархии – чтобы заставить

его «пустить корни», ощутить себя в генерал-губернаторстве подходяще. А еще – чтобы показать его в качестве собственного протеже, дать «бонзам» и главным лицам понять, подойдет ли он им, обретут ли они в нем понимание по самым трепетным и спорным вопросам… сейчас невольно всплывающим в уме. И когда их внимание становится слишком серьезным и самостоятельным, начинает нервничать – как сегодня, от откровенного расположения министра Зейсс-Инкварта. Однако, сегодня Беккер проявил то ли слабость, то ли мудрость, но решил, что правильнее всего – перещеголять Инкварта в демонстрации тепла и расположения, сколько позволяют приличия. Он всё это признает, тронут и даже ценит. Ему сегодня тут хорошо. А что нужно от него Инкварту, с которым они вот-вот станут ближайшими соратниками в подавлении и искоренении польской интеллигенции – он пока не знает… Но узнает конечно, совсем скоро. И черт знает – не таится ли в этом путь к заветному… Сердце оберштурмбаннфюрера начинает колотиться, а мысли – внезапно взметаются и начинают нестись. Он искренне смеется над словами Инкварта о «поляках, которые научатся гнуть шеи так, что на их задах станет возможным возить тяжести», берет в руки бокал с отличным берлинским шнапсом, и незаметно отходит на пару минут в сторону… Выше долга ничего нет. Он вправду считает так. Он трезвый человек, немало видел и пожил, людей и мир знает, даже когда речь идет конкретно о мире людей долга и нравах в том. Оттого-то он в глубине души так ненавидит грязь делишек и интриги, которые в большинстве случаев от карьеры неотделимы, иногда чувствует – предпочел бы честно и ретиво, талантливо исполнять долг на прежнем месте, в провинциальном «гестапо», чем пытаться дослужиться до серьезного места и заветных целей, будучи вынужденным черт знает во что, в какие изощренные хитросплетения связей, интересов и прочего влазить. Оттого ему, если уж со всей честностью сказать, по прежнему тошно здесь, в Кракове… И от интриг Беккера, заложником которых он невольно оказался – от этого, наверное, в первую очередь. Он сам в таком мастер, если оказывается нужно, и не позавидует тому, кто попытается во власти вражды причинить ему вред. Но он не любит этого, верит в братство людей долга и потому, как в подобных случаях, часто оказывается вынужденным со злостью и чуть ли не с яростью признавать, что кто-то способен его на поле карьерных интриг и игр обойти. И конечно – из-за входящих тут во вкус и масштаб делишек, умело замаскированных, но очевидных для всякого, имеющего опыт и профессиональный уровень. С ними связаны как раз большая часть интриг, разговоров за спиной, взаимных прощупываний, манипуляций и сохраняющегося даже за маской самой искренней дружелюбности недоверия… Словом – всё то, что так мучает его в общении с коллегами равного себе и старшего ранга, оставляет его будто бы чуждым даже посреди застолья и хорошего, в духе молодости и славных традиций ресторанного кутежа… Заставляет посреди этих радостей ощутить тошноту и тоску, а потому – под благовидным предлогом отпрашиваться и уезжать, невольно сторониться общества, конечно изо всех сил что-то изображая и отыскивая подходящие маски… Этого, сути большей части интриг и недоверия, а проще говоря – тщательно и умело создаваемого здесь, неотделимого от системы власти в генерал-губернаторстве механизма различного воровства, он боится и не любит в особенности, ибо видел и хорошо знает весьма вероятный, часто даже неотвратимый в раскладе каких-нибудь игр конец. Он не наивен и старается до конца не осуждать, «понимать»… Но по крайней мере – в вере в долг и в случившейся однажды лицом к лицу осведомленности о расплате, старается пока, сколько позволяют обстоятельства, строго держать себя от всего этого подальше, не быть замешанным и не дать кому-нибудь лишних козырей его переиграть или вообще, ради собственных целей и прихотей погубить, держать его в вечном рабстве и под контролем. Так со всех точек зрения умнее, надо только иметь волю и немного чувства долга и брезгливости. Он желает быть верным долгу, служить честно, талантливо и с предельной отданностью сути дела… тому, что более всего в деле любит – как привык в минувшие годы и вплоть до горя себе, сумев заработать имя и репутацию. И безусловно способен. А его жестокость, изощренность в методах и подчас откровенная безжа-

лостность, рьяность в деле и достижении цели – лишь свидетельство его нравственной высоты и не знающей границ преданности долгу, суть и лицо его служебного таланта, который сделал ему имя. И если продвигаться – то именно этим и так. По крайней мере – так это для него пока, на данный момент, хотя зная себя он уверен, что даже случись ему очень продвинуться по карьерной лестнице, в этом главном он поколеблется навряд ли. Их путь – беззаветно служить долгу, нации и воле Фюрера, беспрекословно подчиняться долгу и делать то, что выпадет судьбой и будет нужно, о чем бы в конце концов не шла речь. И замарать этот путь в подобной грязи – не просто всё, то есть жизнь, усилия и имя погубить, а еще словно бы осквернить веру и идеалы, святые вещи и цели, на которых жизнь и дела зиждутся, во имя которых и готов совершать что угодно, даже самое страшное, подчас неукладывающееся в мысли и заставляющее где-то в глубине души дрогнуть, и конечно же поступаешь так, счел бы предательством утрату решимости. Он до конца не осуждает… и вообще – не дано знать, как однажды сложатся обстоятельства… Но быть замешанным и участвовать – из самых принципиальных, диктуемых опытом, чувством долга и верой в дело причин не хочет. И потому – то, что он видит и чувствует тут, в генерал-губернаторстве, вызывает у него неприязнь и тревогу. Именно в этом он должен стать здесь для окружающих своим, целиком ясным и понятным, вызывающим доверие, то есть попросту говоря подельником… да-да, на языке закона, суда и неотвратимой расплаты это звучит именно так! И он этого не хочет и скорее всего никогда не сможет, а потому – чувствует и понимает, день ото дня сильнее, что при здешнем механизме власти скорее всего не приживется…

…Сложные, противоречивые чувства… Вроде бы кажется в какой-то момент, что он прирастет в Кракове, получится… Сыграют роль время и всё же постепенно возникающие, прочно завязываемые связи, день ото дня становящаяся благоприятнее к нему и привычнее атмосфера… Да и найдет он, конечно, как развеять скуку и тоску, чем наполнить здесь жизнь помимо службы – рано или поздно найдет, нащупает компанию и общение, закрутит роман с какой-то белокурой местной красавицей: вот тогда уже точно чертов город и обреченность исполнять в нем долг, покажутся ему вполне терпимыми… А потом, случится ли что-то или просто чуть глубже копнешь и поймешь, что происходит, вникнешь в события, и ясно чувствуешь – нет, это невозможно, любые надежды на это напрасны, иллюзорны, ему и генерал-губернаторству не по пути… Любой другой всеми силами бы рвался сюда, на видную большим чинам и тяжелую должность – проявить себя, сделать себе имя, завязать связи, в обычных обстоятельствах недоступные… да просто отложить в горшочек на черный день, хорошо отложить – это главнее всего даже. Многие именно так и делают. А ему бы – исполнить долг, как привык, ответственно и честно, проявив опыт и талант, да унести отсюда ноги куда-то в другое место, подходящее душе более. Имя у него есть, теперь вообще легендарное, выслуживаться он не будет, а просто достойно исполнит долг, как делал бы на любом месте и что бы ни было ему поручено – этого вполне хватит. А там… посмотрим… Он бы конечно мог – если бы «прирос», укрепил связи и прочее – рассчитывать очень хорошо преуспеть в иерархии и здесь, в генерал-губернаторстве, он знает. Беккер и прочие раскрывают объятия, вовлекают в игру на взаимовыгодных тонах – только замарайся и искренне разойдись руками в ответ. И дело будет сделано. Выше Беккера не прыгнуть, но место повыше и достойные должности есть. Слишком многое мешает, однако… И заветные его мечты – другие. Одна надежда – что в грядущем году по всем направлениям начнется более серьезная работа, которая увлечет и заберет целиком, позволит как следует показать себя и по праву до конца «забыть» и «перестать знать» об этом. А что – просто не хватило на это сил и времени, слишком уж, исполняя долг, был занят другим, гораздо более важным, главным! Упустил из виду всю эту чепуху и грязь, разрывался на службе, целиком отдавал себя главным целям – борьбе с подпольем и искоренению потенциально опасных! Да и с евреями вскорости начнется более серьезная работа, которая потребует отдачи, всё к этому идет и обсуждается подобное открыто и плотно! Что же…

оступился, не уследил, не справился со службой, которой предан и отдан целиком… бывает! Всё равно лучше, чем кончить бесславно, как тот человек, вызывая в одинаковой мере сочувствие, осуждение и укор. И когда он сейчас вспоминает тот случай и всё, с тайным и почти не слышным шорохом происходящее вокруг, то невольно ловит в голове похожие на гневные мысли – вам бы то чувство долга и вины за предательство, которое было у казненного и читалось во всем его облике, в его взгляде, в застывшем в его глазах, но так и не ставшем словами желании извиниться! Даже предав долг, тот человек кажется сохранял больше сознания, что долг над всем и превыше всего, а измена, что бы она не означала – колебания, слабость и малодушие, сомнения и воровство из казны, не способность исполнить приказ и требуемое долгом, есть самое страшное из преступлений. Он, Бруно Мюллер, спорил месяц назад с Беккером только из верности долгу и желания наилучшим образом тому послужить, пусть даже во власти некоторых вещей заблуждался. И если ему прикажут и будет нужно для дела – закатает живьем танками краковских евреев в яму, ими же самими прежде вырытую, сделает это быстро и наилучшим из возможных образом: преград в служении долгу и исполнении приказа быть не должно, как бы ни было тяжело. Таков самый главный нравственный долг – подчиниться и исполнить положенное любой ценой, что бы это не означало и не требовало сделать. Долг перед нацией, который диктуют партия и воля Фюрера, чем бы конкретно он не становился, в любом случае и по сути над всем. И понял он это окончательно именно тогда, казнив собрата по делу и долгу, к которому в его собственной душе и в сердцах подчиненных, он видел, было немало искреннего, справедливого сочувствия. Сумев в верности долгу и исполнении приказа превозмочь себя, подняться над очень важным и сильным в себе именно как человеке долга, патриоте и офицере СС, верном солдате нации и Фюрера…

…Он не чужд искушений, знает себя… Оттого иногда «понимает» и старается до конца не осуждать… Да и попробуй знай, как однажды сложится судьба и что придется сделать, чтобы выплыть в обстоятельствах!.. Но долг одинаков для всех и расплата, если по слабости изменишь долгу и общему делу и попадешься – отвратительна, унизительна и позорна, он видел, знает очень хорошо. И потому, сколько возможно, он все годы службы старался от подобного держаться подальше, а если служба и долг требуют – быть безжалостным, беспощадным. И раскрывая предательство, словно охотник, неумолимо загоняя преступника в угол и заставляя его заплатить… конечно, если позволяет расклад. И как тогда, на пустыре – приводя справедливый приговор в исполнение. Честно, он даже не знает, что больше его от этого отвращает – страх или верность долгу, на которой зиждутся его поступки и вся его жизнь, если разобраться. Долг – всё и над всем, верность долгу есть главная обязанность, на этом строятся жизни, судьбы и дела его и миллионов подобных ему людей, настоящих немцев, верных детей нации, готовых во имя нации и ее блага, повинуясь воде Фюрера сделать что угодно – умереть, убить, безжалостно уничтожать или топтать врагов, быть жестокими и по локоть топить их руки в крови. А потому – осквернять подобной грязью то, чему служишь и предан, повинуешься беспрекословно, вплоть до готовности сделать самое немыслимое, это словно под собой и собственными ногами рыть яму или выбивать табурет. В равной мере преступно и глупо, причем по напрасному. Он не просто по справедливости боится. Он человек долга, служением и верностью, безоговорочным подчинением долгу живет, а потому – многие годы службы, когда сталкивается, старается как-то примиряться, сохранять терпимость и не осуждать до конца, сколько возможно «закрывать глаза» и «не знать», да и зачастую ничего другого не остается, ибо такова система, но на самом деле, от всей его сути неприемлет и лояльным этому быть не может. Это сложный вопрос, черт побери! Система делает дело, общее и важное, от которого зависит будущее всех, у нее есть свои недостатки и вопрос в том, что вернее – мириться с ними (особенно, если нет выхода) или оставаться верным долгу и искоренять их в той мере, в которой вообще дают, ложатся расклад и обстоятельства. В системе надо уметь выживать, пойдешь против нее открыто – она тебя перемелет и выплюнет, сотрет в пыль. А для этого

надо уметь лавировать, быть верным долгу и самому, сколько возможно и дано, сторониться грязи, но при этом мириться с принятыми нравами, особенно – если их, несмотря на идеалы, верности которым требуют от всех и каждого, исповедуют вышестоящие, «бонзы». И слишком рьяно будешь верным долгу, пойдешь против системы через чур прямо, «лоб в лоб» – она тебя же в первую очередь и перемелет, ибо такова. Он слишком хорошо знает, что требует от него в этом случае долг. И отлично понимает, что предает долг, будучи осведомленным обо всем, но из-за принятых нравов и порядков, попросту вынужденный приспосабливаться и «прирастать» в конкретных условиях, не предпринимая никаких мер. Это измена, хоть он к этому и вынужден, а расплата за подобное ему известна. И когда всё всплывает, то на справедливое и показательное судилище отдают именно таких, как он, по необходимости «закрывавших глаза», но остававшихся в стороне и старавшихся не мараться, оттого же мешавших, бывших оскоминой, так и не превратившихся в «своих» и доверие до конца не вызвавших. А чтобы избежать этого, надо самому по уши замараться, именно так стать «своим» и «прирасти», но постоянно и искусно интриговать и держать нюх по ветру, чтобы в случае чего казнил ты и разоблачили и отправили на расплату кого-то другого, нужного и попавшего в расклад в тот момент. А ему всё это, где-то в самой глубине души противно, вот ей-богу, он так не может. Он слишком настоящий немец и человек долга для этого. И слишком верит в долг и дело – всеобщее и его собственное, означающее целям и делу нации служить. Они живут верностью долгу, их жизнь – служение долгу, будущему и делу нации, великой воле Фюрера. И так осквернять то, преданность чему есть дело, жизнь и путь, заставляет совершать страшные вещи и служит им безоговорочным оправданием?! Он этого никогда, если говорить по всей честности, не понимал и не принимал. Он верен долгу – по настоящему, самой его сутью и сутью всей его жизни. Он вступил в партию сразу после университета, еще совсем молодым, ибо почувствовал: беззаветно служить делу и долгу, подчиняться великой воле, которая ведет всех и каждого к целям и наверняка знает путь – этим должна быть его жизнь, так она обретает смысл, прочность и основы! И потому же в 36-ом, когда Гиммлер создавал СС, он без малейших сомнений вступил в ряды и пошел служить в «гестапо», ибо почувствовал – именно там и так, с его талантом, волей и образованием, он сможет по настоящему быть немцем, служить долгу и делу нации, подчиняться для этого нерушимым вещам и указывающей их, ведущей нацию воле. Сомнения в нем до последних событий были, но лишь продиктованные опытом и преданностью делу. И конечно же не в нации, великой воле Фюрера и идеалах, а как ему казалось – именно в различных прохвостах и умеющих играть в карьерные игры пронырах, которые посреди бурления веры и священного энтузиазма всех, умеют держать нос по ветру и отхватывать выгоду для самих себя. Он раскаивается и признает ошибки. Гиммлер и требовал от вступивших в СС главного: верности долгу и потому же – беспрекословного подчинения, готовности во имя дела и долга, исполнения приказа совершить что угодно, подняться над любыми соображениями, сомнениями и пристрастиями, да чем только нет! И подобное было ему необыкновенно близко, созвучно его каким-то самым сущностным побуждениям, потребностям и человеческим чертам. Только так, казалось, он хочет и вообще может жить, имеет зачем. И лишь так может быть настоящим немцем и человеком долга, частью системы, которая ведет нацию к торжеству, умеющим подчиняться и исполнять орудием великих целей и идей. А потому – быть лояльным всему этому он никогда не мог, видел в подобном конечно же предательство идеалов и долга, словно некое святотатство. Он часто содрогается, обнаруживая, насколько это неотделимо от системы и привычно для нравов тех, кто идеалы и долг олицетворяет, очерчивает для всех и каждого, превращает во всеобщую, требующую подчинения и сплоченности, не допускающую сомнений веру. Вот и здесь – он догадывается и еще чаще ясно видит, что происходит, какие делишки проворачиваются тайно, по уговору и круговой поруке, с умелой законспирированностью и если не с «одобрения» на самом верху, то по крайней мере, в до поры до времени покрывательстве. И хоть он пытается, ибо попросту вынужден,

как-то мириться, закрывать глаза и «понимать», не осуждать полностью, но всё напрасно – ему это неприемлемо, замараться в таком он себе не даст и контакта в этом с окружающими, офицерами и служащими генерал-губернаторства высшего ранга, от сотрудничества и доверия с которыми целиком зависит служба, не найдет. И его положение сложное – он обо всем знает, но предпринять ничего не может, равно как не может донести на самый верх, ибо тут, именно с высшего «закрывания глаз» так принято и лишь вовсю, одновременно с осторожностью, вкусом и заделом начинается, и поступить подобным образом значит пойти против системы впрямую и себя же в конце концов погубить. Он знает, что требует в этом положении долг, и вынужден предавать долг, просто повинуясь обстоятельствам и не имея никаких иллюзий относительно вполне вероятной расплаты. И ему бывает от этого тошно до нестерпимости – хоть на концерт иди и будь вынужден изображать восторги перед музыкой, к которой совершенно безразличен…

…Сложная ситуация. Он ходит по лезвию бритвы, рискует и норовит серьезно замараться, даже против воли. И не просто по справедливости боится, а еще душой настоящего немца этого неприемлет. Ведь всё это выстраивается здесь с негласной «отмашки» на самом верху, то есть генерал-губернатора, одного из старейших сподвижников Фюрера и главных партийных «бонз», а так же наиболее близких к тому людей, ключевых фигур в системе. При мыслях об этом, еще раз проговаривая про себя догадки и всё более ясное, подчас страшащее понимание, оберштурмбаннфюрер Бруно Мюллер даже непроизвольно сглатывает. А значит – против не пойдешь и остаться верным долгу, предпринять необходимые меры и не замараться самому, не показать соучастием лояльности порядкам и нравам, которые тут вовсю прорастают и вскоре обещают вообще зацвести, попросту невозможно и равносильно тому, чтобы неумолимо себя эдак или иначе погубить. И значит, выхода нет и нужно оказаться замешанным, умело лавировать и предавать долг, полагаясь на собственные интриги и опыт, круговую поруку и чьё-то благоволение, но при этом, как и все остальные – будучи на крючке и рискуя в один момент, став заложником чьего-нибудь более высокого расклада, кончить отвратительно и бесславно. «Прирасти» и стать частью системы здесь иначе не выйдет, это становится день ото дня яснее. А он всего этого не сможет. Он знает себя. Он может только какое-то, не слишком долгое время умело хитрить, лавировать и пристраиваться, играть на настроениях и страхах, балансе различных и уловленных им интересов, надевать маски. Он не сумеет так страшно предавать долг, по настоящему быть всему этому лояльным и тем более – сопричастным. Замаравшись даже против воли по самую макушку, так что если не дай бог что – на целиком справедливый приговор, тайный или же публичный, с позором, хватит с лихвой. Слишком уж долг, верность и подчинение долгу в его жизни важны, по самой ее сути. Он слишком настоящий немец, патриот и человек долга, «эсэсовец». Служение долгу и само это слово, немедленно вызывающее в его душе трепет, суровость и возвышенную жертвенность, желание и готовность вскинуть руку, рявкнуть «зиг хайль!» и беспрекословно повиноваться, вообще верность делу нации и святым для всех вещам, слишком для него серьезны и настоящны. В его душе и жизни слишком серьезным значением обладают. Долг и служение долгу, их место в его жизни слишком святы и фундаментальны, так что отступи и предай, через чур замарайся, поколебай в самом себе преданность и веру – всё рухнет. Он рухнет. Вся его жизнь, как он знает и понимает ее. Да, на этом, если вдуматься и честно разобраться, стоит вся его жизнь. Он давно понял, что на служении и беспрекословном подчинении долгу, воле Фюрера и партии, святым и непререкаемым для нации идеалам, великим целям и задумкам Фюрера, зиждется вся его жизнь. Да на одной только возможности службой, талантом воли и искушенного в деле, в поиске решений ума, практически изворотливого и цепкого, бесконечной преданностью долгу волю и идеи Фюрера воплощать… Он просто не смог бы жить никак иначе… Во всех других случаях его жизнь рухнула бы, оказалась бессмысленной, просто потерялась бы и погибла в водовороте мира, событий и подчас страшащих, окутанных мглой неизвестности дилемм… Одиночество

и потерянность перед этими дилеммами иногда страшнее самой смерти – он еще в молодости понял и почувствовал так. И спасают лишь верность и беспрекословное подчинение долгу, который диктует кто-то, самой судьбой к этому призванный, несомненно имеющий на это право. Он потому иногда содрогается, воочию обнаруживая, кто и на каком уровне потворствует подобному, превращает в норму вещей либо просто полугласную практику то, за что нужно без колебаний кончать, по закону, открыто или тайно. Ему даже кажется, что это может однажды всё погубить – дело и цели, великие свершения и сплоченность в энтузиазме миллионов людей, истинных немцев и сынов нации. Оттого-то он в особенности неприемлет и знает – притерпеться и сжиться рядом с подобным не сумеет. И тем более – пока совсем уже не припечёт, не хочет позволить его в этом замазать. Однако, его веру в дело и долг, в их высшую правоту и беспрекословность, в провозглашаемые с трибун идеалы, цели и идеи это ни чуть не колеблет и не рушит, о нет! Как конечно же и веру в тех великих людей, из пламенных уст и волей которых вся нация узнает о том, что она должна и какое великое будущее предначертано ей Судьбой, если только она окажется достойной и будет верна, сплочена и покорна! И иначе не может быть, ибо вся его жизнь, как и жизни многих миллионов людей, зиждется на такой вере и в ней нуждается. Требует веры в святое и нерушимое для всех, которой можно и должно было бы рьяно служить волей, делами и беспрекословным повиновением. Зиждется на необходимости подчиняться, следовать чьей-то великой, беспрекословной и несомненной воле, служить долгу и целям, которые эта воля диктует. А если такой веры и возможности нет – только катастрофа, бездна и полный крах, он с давних пор узнал это. Лишь темная бездна вопросов и дилемм, на которые не знаешь ответа, перед которыми в ужасе и отчаянии просто потерян. И потому – ищешь такую веру, возможность беспрекословно следовать и подчиняться ей, ставшей долгом, приказами, обязанностями службы и идеалами, которые разделяют миллионы людей, а так же воле, которая ее всем и каждому указывает, диктует. Оттого он так любит музыку «зигов», картину вскинутых в верности общему делу рук, мужественных и несущих печать суровой решительности, героического и беспрекословного повиновения лиц, готовых во имя дела и долга, нерушимых и святых для всех вещей на что угодно. Это придает ощущения уверенности, сплоченности, твердой земли под ногами – в деле и в жизни вообще, в служении долгу… в совершении тяжелых вещей, которых часто требует долг. Он сам подчиняет, заставляет повиноваться долгу и отдает приказы, словно господь бог, творец мира или Судьба, а может – подобно истинному художнику, подчас принуждает пространство и обстоятельства, окружающую действительность и события вертеться, плясать и менять облик так, как это нужно ему и повелевающей ему воле. Сотни, а иногда даже тысячи людей заставляет действовать как часы, единый и отлаженный, в такт дышащий и работающий механизм, сплоченный одними целями и способный сделать что угодно, выполнить любой приказ. Но его собственная уверенность зиждется на том, что долг и дело, приказы и цели, вера и обязанность повиноваться у всех общие, а потому – именно беспрекословные, колебаний не допускающие. Всё стоит на этом, он понял и ощутил давно. Грядущие победы и успехи. Сплоченность нации, которая к ним неумолимо ведет и делает ее похожей на сокрушающий, заставляющий дрожать кулак. Сила и неколебимость миллионов детей нации в ужасах, которыми это неотвратимо станет для ее врагов. А грязь и пошлая, во власти разных житейских страстишек измена делу… Да сталкиваясь с подобным, он лишь еще более укрепляется в верности долгу, нерушимо в святости дела и долга убеждается! Любое святое дело никогда не было защищено или свободно от этого. И веру в дело и долг, готовность и стремление повиноваться подобное ни рушить, ни даже просто колебать ни в коем случае не должно. Слишком уж важна в жизни эта вера, всё на себе держит. А дело нации, безжалостной борьбы за ее вечное и великое будущее, конечно же превыше всего и свято более, чем чтобы то ни было…

А всё же главное, чего не достает – романа… женщины. Красивой и способной как следует удовлетворить – это прежде всего. Однако, хорошо бы еще и умной, чтобы проводя с ней время, можно было, не вдаваясь в детали, хоть немного излить его душу настоящего немца и человека долга, все эти чувства. И чуткой. Способной понять это, оценить. Понять высоту его порывов и морали. Всего, чем он многие годы движим в делах, службе… в самой жизни. Тяжесть того, что подчас приходится поэтому не просто делать, но еще и испытывать. Горечь и тяжесть, которые по этой причине часто сплетены в его душе с уважением к себе и чувством собственного значения, любви к службе и ощущением в ней себя чуть ли не вдохновенным артистом или Судьбой, как минимум – одним из тех настоящих немцев и людей долга, на которых всё стоит. Пускай даже он при этом груб, чувствовать «высокое» и восторгаться тем не умеет. А способна ли будет на это душой одна из местных полек? Тянуть его на концерты гаразды, а вот понять, что он более всего хочет, подвинуть его к этому, может – свести с кем-нибудь если не из ошивающихся вокруг офицеров полек, то хотя бы здешних немок, давно осевших, «фольскдойче»? Долг долгом, ставшая легендой акция до сих пор радует его, а пока вяловатая работа всё же занимает, но он кажется еще никогда так долго не был без женщины. И чувствует – больше не может. Ему нужна женщина. Красивая и рождающая силу желания. Благоговеющая перед ним и умная. Ценящая его расположение. Способная утешить, разделить и понять. Счастливая и гордая, что человек долга и оберштурмбаннфюрер СС, глава обеих краковских полиций, близкий «бонзам» организатор исторического дела и обладатель легендарного служебного имени, считает возможным доверять ей уголки и тайны его души. Женщина, над которой он ощущал бы его власть. Покорная его воле и давнему желанию не только подчиняться, рьяно и вдохновенно исполнять долг, быть в этом значимым, изощренным и несгибаемым, попирающим что угодно и полезным нации, подчас чуть ли не великим и подобным художнику, а еще и властвовать, подчинять самому. Заставлять людей повиноваться себе, собственной воле и долгу, который стоит над всеми и ему самому продиктован волей, гораздо более высокой. Чтобы так он мог чувствовать себя мужчиной. Вот именно так, ощущая экстаз удовлетворения и торжество его воли, которое принимается с радостью (женщина желает этого и создана подчиняться и служить), а не просто рявкая привычно «зиг хайль!», вызывая уважение и трепет у солдат или же отводя душу и забивая в подвале очередного, понапрасну наглого интеллигентишку… Да просто – ему нужна женщина. И всё. Баста. Что тут не понятного или не ясного? Бокальчик отличного шнапса, осушенный оберштурмбаннфюрером в стороне от компании уже наполовину, ни чуть не замутнил ему сознание, но зато дал почувствовать суть и силу его главного побуждения сейчас. Ему нужна женщина. Со всех точек зрения. Ощутить себя мужчиной. Разрядить муку неудовлетворенного уже черти сколько времени, с самого начала кампании желания, всегда необыкновенно сильного в нем. Да просто забветь скуку и тоску здешней жизни, красиво и с упоением развлечься в те крохи времени, которые оставляет служба, скрасить одиночество и тяжесть выпадающих в ней перипетий. Иметь рядом какое-нибудь вдоволь красивое, покорное и благоговеющее перед ним местное чудо, которое вызывало бы зависть и уважение коллег, а ему самому позволило бы жить в удовлетворенности и ворохе простых радостей. С ощущением себя достойно и наравне с вышестоящими коллегами, не имеющими семей или же просто любящими и умеющими покрутить романы, а потому – неизменно приходящими на большую часть «сабантуев» и торжеств именно под руку с какой-нибудь соблазнительной, умеющей острить, заливисто смеяться и благоговейно глядеть на господина ее души красавицей. Он итак вдоволь пасует, стушевывается перед ними из-за грубости и нечувствительности к «изысканным» развлечениям. Сам над собой смеется и в глубине души считает это для себя, талантливого человека долга и воли оскорбительным – и всё равно от раза к разу происходит именно так. А тут еще и наставшее во всех перипетиях и мытарствах кампании одиночество, за месяц постоянной жизни в Кракове так и не преодоленное. Служба и всё прочее – неустроенность, интриги и неопределенность пла-

нов, конечно же играют роль, но обидно. Потому что вниманием женщин он никогда обделен не был. Власть и влияние, зловещий и легендарный ореол человека долга, истинного сына нации, который в службе и на пути к цели не останавливается ни перед чем, его умение вызывать уважение и страх, благоговейный трепет – всё это влекло к нему женщин. Плюс его привычка заставлять повиноваться и выполнять приказы сотни людей, быть в деле одновременно вдохновенным, изворотливо умным, жестоким и подчас просто безжалостным. Экстаз воли, который неизменно сопровождает дело и всю его жизнь, часто дает ощущать себя не только исполнительным, разящим орудием великих целей, но словно бы ваяющим мир, обстоятельства и пространство, судьбы и жизни множества людей художником. Да прибавьте желание, которое с лет молодости пламенем, моментально зажигалось в нем на вид почти любой женщины, было необыкновенно по силе и дышало в его облике вместе с волей, жестокостью, умением подчинять долгу, мучить и убивать, многолетней привычкой делать это без колебаний и знанием о том, что же ему приходится совершать изо дня в день и на что он во имя дела и долга, в его нравственном величии и душой истинного немца способен. О, всё это не только доставляло ему наслаждение и дарило счастье, чувство нравственного удовлетворения и собственной значимости, причины уважать себя! Гремучей и взрывоопасной смесью души настоящего немца, словно бы тени величия и воли Фюрера, всё это светилось в нем, с небывалой силой и наповал разило. Женщины боролись за право быть к нему близкими, лечь под него. Раздвинуть ноги, выгнуться или вообще делать в жизни и постели то, что он пожелает, повелит им. Давать ему то, что он потребует. Он никогда не искал внимания женщин – они бросались на него во множестве, готовы были дарить себя, искали его расположения и предлагали себя, часто пренебрегая приличиями, а он просто выбирал. И причины, чисто практические, но оттого не менее сильные, были очевидны. Помимо всего этого, у него была власть. Право уничтожить или помиловать. Способность привести назавтра к краху любого, кто сегодня мнит себя хозяином дел и судьбы. Превратить в прах еще вчера вызывавшую зависть жизнь. И он умел делать это – хитро, умно, безжалостно и неумолимо, не оставляя шансов тому, кого по тем или иным причинам приговорил и наметил целью. И делал – на глазах у тысяч людей, становясь зловещей и вызывающей трепет легендой. И именно таким был поэтому желанен в любом кругу. На любом сборище, которые в провинциальных городах никогда не были слишком претенциозными. И какого есть, его принимали с уважением и никогда не покидающим страхом. И оставаясь собой, будучи именно таким, он при этом чувствовал себя на пространстве вверенных его власти округов, десятков городов и множества различных структур, среди тысяч покорных ему или так или иначе от него зависящих людей отлично, уверенно и удовлетворенно, пасовал в ощущениях лишь в редких случаях каких-нибудь больших сборищ СС или партии, когда оказывался рядом со «сливками» и в столице. Ведь когда «сливки» и большие чины приезжали в его владения, как он любил смеяться, он был на коне, на своем месте и хозяином ситуации – верным долгу главой «гестапо», который показывает результаты блестящей работы и вызывает уважение, одобрение, благоговейный и завистливый шепот за спиной, выражения лиц такие, что мол вот, пока подобные люди в тылу, общее дело непобедимо, а перед идеалами и волей нации, ее движением к цели не устоит ни что. Он был хозяином положения, на своем поле и среди тысяч зависящих от него, беспрекословно ему покорных и чтущих его авторитет, а иногда просто до смерти боящихся людей. Результаты его дел были блестящими, а имя и репутация – нерушимыми. Да и «конюшни», доверенные ему там или тут, он всегда содержал в блестящем порядке, умел заставить. Враги в яме или концлагере, документы – лист к листу, комар не подточит носа, подчиненные прямы как шпицрутен и готовы через минуту броситься с обрыва, если он прикажет. А те, которые достались со времен версальского позора, раз и навсегда побежденной демократической грязи, опытные и с выслугой лет – верны и преданы больше, чем партийные новобранцы, по крайней мере, ни выражением лица, ни поступками не дадут в этом засомневаться. О, он умеет служить и делать дело, быть

преданным долгу, легенды о нем ходят на определенном уровне не зря! И показать это он умел даже с поста главы провинциального «гестапо». И не зря на его месте среднего ранга чинуши и полицейского, часто вообще палача, ибо дело надо знать и уметь делать вплоть до азов, он чувствовал себя вдохновенным и талантливым художником, а вовсе не «серостью», обычным винтиком в системе! Ощущал себя достойно, уверенно, был доволен собой. А тут вроде бы всё тоже самое и даже более – власть, важная должность и близость к самым верхам, право уничтожить или сохранить жизнь, он верно и легендарно служит долгу и хоть с «приглядыванием» из под улыбок, ему всё же раскрывают объятия, ибо талант его ценят и заинтересованы, но он по разным причинам обречен тосковать, в возможности «прирасти» не уверен и вообще часто вынужден чувствовать себя черти чем. И нет женщины, ко всем бедам. Слишком долго уже нет. А он не привык себя в этом ограничивать. Для него это хуже смерти, даже унизительно. А мучительно – так и слов нет. Он тогда начинает свирепеть, сходить с ума, готов даже без повода забить кого-то в подвале, чтоб хоть немного полегчало. И хоть возможностей таких ныне отбавляй и будет еще больше, он предпочитает всё-таки изловчиться посреди всех забот и «головных болей», но женщину себе найти. Он был нужен и вожделенен, ибо помимо прочего имел власть, часто последнюю власть. Дарил чувство безопасности, блага и надежды, разные выгоды и перспективы там, где обстоятельства жизни тяжелы, а барьеры в судьбе могут оказаться непреодолимыми, если не заслужить его расположения. И всё это влекло к нему, заставляло искать его внимания, пытаться понравиться и вызвать в нем желание обладать. Влекли власть, сила и жестокость, постоянно напряженная как струна воля, влияние. Факт таков, что он лишь выбирал и никогда не был одинок, если же и был не очень долго – то по собственному желанию, а не вынужденно. Всегда была рядом способная и желающая понять его душу, но при этом не слишком назойливая и дающая почувствовать власть над ней, ее зависимость. Способная стать зеркалом его значимости, его нравственно цельной и по настоящему высокой в верности долгу души. И всегда вправду зависимая, готовая удовлетворять, служить и дарить всё это, исполнить его явные или тайные желания в обмен на близость к нему, от которого зависят успех или крах, жизнь и смерть, сытость и достойная обстановка посреди непростых времен и обстоятельств. Здесь вроде бы всё то же. И заставить какую-нибудь вожделенную белокурую польку лечь, быть покорной и верной, благоговеть и дарить удовольствие даже проще – слишком уж в крепкие тиски они, немцы, ныне задавили здешнюю жизнь, а это ведь только начало! Оберштурмбаннфюрер усмехается при этих мыслях и смакует еще глоточек. Да, выжить сносно для поляков теперь возможно только близостью к ним, не терпящим даже строптивого взгляда хозяевам, пришедшим сюда навечно. Особенно – к подобным ему, у которых есть реальная и страшная власть, доступ к редким по временам благам. Любая захочет этого, сделает ради этого всё. А польки, как ему кажется, вообще довольно доступны. Всё именно так. Отчего же он тогда уже три месяца не держал в руках женщины, обделен тем, что было так привычно и важно? Заботы службы, головная боль от беккеровских затей и прочего? Не встретил подходящей? Такой, чтобы не было оскорбительно и по настоящему пробудила желание, интерес… готовность даже самому первым поухаживать? Вполне вероятно… Ведь не на баб же деревенских, с утра кормящих свиней, было кидаться. За два месяца, что он, без особых опасностей для себя мотался с айнзацкомандой по польским окраинам, он немало видел среди деревенских славянок по своему красивых, будящих желание… но как-то знаете ли не пришло в голову. Он же немец, всё-таки. Настоящий немец. Оберштурмбаннфюрер СС, юрист с дипломом и опытный глава полиции. И хоть груб и терпеть не может того, отчего млеют коллеги из числа «сливок», но себя уважает и до подобного опускаться не хочет – как бы неудовлетворенное уже несколько месяцев желание не мучило. Оберштурмбаннфюрер Бруно Мюллер делает новый глоток. Пускай как сама служба, верность долгу и возможность повиноваться, это всегда было ему в жизни важно, а ограничивать себя хоть сколько-то, отказывать себе в этом из каких-нибудь причин он вообще не привык и считает недопустимым – не желает.

И просто не может. Однако – ему нужна женщина. И баста. Это очевидность. И это надо в ближайшее время как-то решать. И когда это решится, шансы вопреки всему «прирасти» в Кракове, по крайней мере – пока не подыщется другое, более близкое заветным целям, станут в особенности сильны.

…Он делает во имя долга страшные вещи, ни чуть не колеблясь и не сомневаясь, будучи целиком уверенным в себе, стоит и держится только на вере в долг и беспрекословном ему подчинении, лишь этим живет. А оскверни долг и служение ему, поколебай эту веру – рухнешь, жизнь и судьба рухнут. Это в нем наверное даже сильнее страха возможной расплаты, точнее – страх перед этим, где-то в глубине души таящийся и всплывающий от повода к поводу, сильнее. Все они, миллионы истинных немцев или просто множество людей долга и дела, хранят их преданность и покорность, веру в Фюрера и великие идеи этого человека во имя самих себя. Чтобы не рухнуло всё – их поступки, жизни и души, сама их сплоченность, которая означает основу и фундамент, чувство твердой земли под ногами, их уверенность в том, что они делают и их беспрекословной правоте. Чтобы не рухнула вера в правоту вещей, которые вся нация и каждый на его месте – делами или просто поддержкой, беспрекословной преданностью и покорностью совершают. А вот такое – делишки и воровство, предательство долга во власти разных нужд и пошленьких житейских страстей, святость долга и веры в него как раз и рушат, оскверняют! И потому – рушат всё, основу всего, саму жизнь и веру в неоспоримую правоту того, что делаешь, часто страшного. Он давно это почувствовал. Это словно помочиться под портретом Фюрера и флагом Рейха с древней арийской свастикой, вот ей-богу. Плюнуть в то, на чем стоят жизнь и дела. Так он ощутил тоже давно. И потому не понимает, как подобное позволяют себе люди долга, которые стоят на самом верху и долг для всех и каждого указывают. Да пусть даже и самые обычные, от «эсэсовцев» -хозяйственников среднего ранга, подобных ему, до простых «гестаповцев» на местах, которые кладут себе в карман, сколько позволяет должность и во власти разных обстоятельств. Он не понимает, как этим людям удается сохранять веру в долг, идеалы нации и правоту того, что исполняя долг, они подчас вынуждены совершать. Да и вообще, слишком уж отступи от долга во власти каких-нибудь обстоятельств, даже не по собственной воле – и рухнет святое, на чем всё стоит, что оправдывает, придает силу и веру, основы и чувство твердой земли под ногами. И тогда погибнешь. Лишь привыкни осквернять святое, на чем стоит всё – душа, ум, жизнь и дела, собственные и целой нации, миллионов сплоченных в вере, покорности и идеалах людей, как рухнешь и погибнешь, безнадежно. Всякое бывает в жизни, он не мальчик и не наивен. И однажды возможно и вправду придется, скрепя сердце и оправдываясь многолетней преданностью, преступить против святых вещей. Переступить через то, чему служил преданно, беспрекословно подчиняясь, умея совершать что угодно и преодолевать любые колебания. Однако, умно и ради самого же себя, во имя дела и долга, собственной жизни, на служении и беспрекословном подчинении долгу построенной, он старается держаться от подобного подальше. Из самых высших мотивов, а не только из страха перед расплатой и попаданием к кому-нибудь на крючок. Из страха, но самого в отношении к его жизни главного. Чтобы с крахом святых вещей, подчиняющих жизнь и дела, придающих так жизни основы, а делам и душе – чувство неоспоримой правоты, самому не рухнуть и не погибнуть. А если такое святотатство становится повальным, похожим на чуму или наводнение – рухнуть могут жизнь и душа, вера миллионов людей, огромной нации, само великое, обещанное этой нации будущее. Оттого он так любит и ценит его работу, самого себя в ней, со всей его жестокостью и преданностью долгу, с умением исполнять долг любой ценой, с его волей и подчас вдохновенным, изворотливым, находящим блестящие решения умом, который умеет схватывать и превращать в результат, в путь к цели множество очень разных вещей. Оттого же, будучи лишь орудием чьей-то, гораздо более великой и подчиняющей всех воли, с его жертвенной преданностью долгу и делу, умением по колено заходить ради долга в кровь

и дерьмо, он при этом так уважает себя, ощущает собственное значение, чувствует себя подчас чуть ли не вдохновенным артистом или творцом мира, вершителем Судьбы. Они, настоящие люди долга, воплощающие долг собственными руками и лицом к лицу – соль и основа всего, стражи общего дела, успехов и целей огромной нации, которая призвана покорить мир и торжествовать в вечности. На их труде и жертвенной, ни с чем не считающейся преданности долгу всё стоит, оберштурмбаннфюрер думает и считает так, не боясь высоких слов, да-да! Благодаря им и вот этим их качествам, великие задумки и цели Фюрера становятся реальностью. Только благодаря им. Великие и стоящие на самом верху, которые диктуют долг и веру, не знают воочию и зачастую даже не представляют, какой ценой долг исполняется, а указанные ими цели становятся реальностью, что для этого бывает нужно сделать. Что имеют мужество, нравственную силу и беззаветную преданность долгу делать для этого они, тысячи обычных служак с не слишком высоким чином, на которых зиждется всё. Конечно же – имеющие поэтому право ощущать в себе вершителей Судьбы и искры величия тех, кто отдает им приказы, настоящими и не меньшими творцами мира и реалий. Они – орудия долга, преданные и жертвенные, покорные и воплощающие великие цели, благодаря им, умеющим погружаться в грязь и кровь дела, что-нибудь вообще становится возможно. И они имеют право и причины чувствовать себя в деле и на их местах великими, значимыми, достойными – подобно целям, которым служат и тем, кто на эти цели и долг указывают. И может быть даже так, что эти, указывающие путь и цель, взглянуть в лицо практике дела и долга, которая творится их руками, сил бы в себе не нашли! Их работа оберегает всеобщую веру и преданность ей, святость и нерушимость ее идеалов, готовность повиноваться долгу, который она диктует. А потому – и всеобщую жизнь, сплоченность и преданность делу миллионов людей, которая на этой вере и ее нерушимости зиждется. Будучи лишь орудиями приказов и великой воли Фюрера, они при этом творят и переиначивают мир, несут на себе дело нации и ее будущее, на них всё стоит. И он не знает, что более в его работе оберегает основы и всеобщую веру – борьба с предателями и подпольем, с теми, кто смеет сеять сомнения в идеях Фюрера и миллионов людей, в великих деяниях нации, или же разоблачение измен долгу, которые часто от системы неотделимы и потому вроде бы не видны, даже порой покажется, что особого вреда не несут, но на самом деле грозят крахом ни чуть не меньше. И совсем не только с практической стороны. В них страшна привычка попирать то, чему должно безоговорочно, не жалея себя и ни с чем не считаясь служить, подчиняться. И так – рушить святость и власть вещей, на верности и подчинении которым зиждется по истине всё. Дело нации. Всеобщая жизнь, поступки и вера в собственную правоту миллионов людей. Вера в страшные, но необходимые и подчас великие дела, которые должно совершать на пути к целям. А тут, в генерал-губернаторстве, в чертовом и с первого взгляда, вопреки всем красотам не полюбившемся ему Кракове, где собраны «бонзы» и основной аппарат, это превращается чуть ли не в норму, причем с самого высокого «закрывания глаз», бороться же с подобным и быть верным долгу возможности поэтому не остается. Так это тут, увы. День ото дня он всё более убеждается. И остается только таиться, изображать полное неведение или просто невмешательство, собирать при этом на последний случай такой материал, что бомба, сброшенная на Вавель 20 апреля, причинит меньше вреда, блестяще и талантливо исполнять долг и стараться заслужить достойный перевод. Потому что долго таиться и оставаться в стороне тоже не выйдет – это в первую очередь вызовет недоверие, чувство опасности и насущную необходимость его сожрать или просто как-нибудь от него избавиться. И его, сложившаяся за долгие годы привычка уметь всё до малейших деталей видеть, но при этом превращать глаза в мелкие, узенькие щелки, сейчас очень кстати. Никто не должен прочесть в его глазах, что же он по настоящему чувствует и думает. Никто не должен понять и найти там его настоящих настроений и желаний, как же он на самом деле относится к чему-то. И никто не должен догадаться, что чуть ли не «дремля» и почти ничего не видя, не давая прочесть в его глазах чего-то лишнего и ему самому нежелательного, он при этом

видит, понимает и цепко схватывает, как в книге читает подобное в глазах, речах и выражении лиц остальных. А того, кто считает себя в отношении к нему победителем и гораздо умнее, уже наметил как цель и приговорил, нашел как это сделать, на случай последнего и откровенного конфликта припас козыри, которые неотвратимо станут кандалами и робой смертника. Эта привычка сложилась за много лет и очень кстати сегодня, в возникшей ситуации, когда интриги и подковерная борьба, недоверие всех всем и желание найти доверие в том, за что надо кончать в подвалах или у столба на пустыре, изысканное лицемерие и внешнее дружелюбие, приглашение в компанию и делишки при пристальном взгляде – «а подойдет ли?», сплавились воедино, заполнили его жизнь целиком и потому мучат его, рождают тоску. Всегда было так, сколько он помнит. Братство людей долга, пусть даже вера в долг искренна и сплачивает, заставляет совершать поступки и жертвовать собой, дано ощутить редко. Чаще торжествует иное, и он в этом «ином», хоть иногда по цельности немецкой души пасует и проигрывает, выживать привык и еще как умеет! И привычка превращать глаза в щелки, сплющивать веки, сколько вообще возможно – свидетельство этого, которое останется с ним до конца дней, ибо рефлексы всей жизни и судьбы не отменишь. Ибо сама судьба и жизнь такова. Он привык выживать в джунглях и умеет, и пускай иногда позволяет кому-то себя переиграть, но даже того, кому одна партия с ним удалась, обычно в конце концов обходит. Но поверх этого, от системы и служения долгу неотделимого, он всегда находил доверительное, душевное общение с настоящими братьями по делу. А тут такого нет и скорее всего – не будет. Он не первый год служит и ходит по земле, систему знает, но с подобным никогда не сживется и хочет исполнять долг на том месте, где более всего требуется главное – воля, преданность делу, жестокость и решительность в этом, умение достичь цели любой ценой, а вот такого, пусть даже неотвратимого, сколь возможно меньше. Он человек долга, служение долгу – его путь, вся его жизнь, он закатывал на этом пути рукава, засовывал руки в дерьмо и кровь, умеет делать это и еще в избытке сделает, ибо наверняка предстоит. Верность и беспрекословное подчинение долгу для него всё, что бы конкретно это не означало. А если надо окунаться в кровь, быть безжалостным, делать страшные вещи и на этом пути не колебаться, подниматься над собой и собственными чувствами, чуть ли не самым последним в себе – еще лучше. Так он лишь доказывает себе преданность долгу и собственное значение, его годность как сына нации, патриота и офицера СС. Человека, для которого служение долгу, нации и Фюреру не слова, пусть даже искренние, а суть и основа самой его жизни. Потому что долг и верность ему, готовность любой ценой его исполнить, стремление сделать это лучше и достойнее, чем кто-либо другой – вот что «над всем» и по важности и силе есть последнее. И он хочет, чтобы оставалось так. Чтобы долг и служба, всё с исполнением долга связанное, в чем он так умеет проявить себя были, а вот предательства, вынужденности мараться в делишках и покрывательстве, как-то с подобным сживаться, одновременного с этим и очень мучительного чувства, что он не может и неприемлет – не было. А здесь так не выйдет, что ему уже сейчас дано понять или по крайней мере – с большой степенью вероятности кажется. Здесь нужно замараться, войти вместе со всеми в игру, иначе частью системы не стать. И значит – делать неприемлемое истинной немецкой душе и понапрасну рискованное. Для воли, жестокости и решительности, умения ставить мир вокруг с ног на голову, то есть всего, так им в работе любимого, место конечно же найдется, настоящие дела здесь только начинаются… Однако, служба в генерал-губернаторстве, особенно на ключевых должностях, всегда будет означать взятки и повальное воровство перед глазами, но при этом обреченность нарушать долг, покрывать и соучаствовать, вместе со всеми мараться и быть на крючке, зависеть. Смертельно рисковать поэтому всем. Делать вещи, для его души человека долга неприемлемые, губительные, грозящие привести к краху. Так тут всё строится. Таковы тут правила и нравы, ничего не поделать. И потому еще надежда – может быть он в настоящей работе сумеет так прочно себя зарекомендовать, подтвердить его и без того достойное служеб-

ное имя, что продвинется отсюда к заветным целям в какое-то другое, более подходящее ему по всем статьям место…

…Он грубее и гораздо проще душой, как сам себя знает, нравственно цельнее… ему чем всё это, правда – лучше продолжать прозябать главой провинциального «гестапо», талантливо и честно исполняя долг, быть может не зная продвижения и достижения заветной мечты, но зато оставаясь так самим собой. Да – от природы грубоватым душой, еще более очерствевшим в деле и исполнении долга (иначе он вообще не смог бы служить!), но зато настоящим, нравственно цельным, верным нации и долгу, воле Фюрера немцем, достоинство и значение которого нерушимо… Да иногда кажется, чем всё это и настолько глупо, зря рисковать, предавать долг и ходить по лезвию бритвы, подвергать опасности имя, путь и судьбу, быть к этому попросту вынужденным – так даже мерзнуть и прозябать в осенней слякоти по деревням, мотаясь с айнзацкомандой, черт знает что есть и непонятно где и на чем спать, ругаться промозглым утром на берегу Сана, перегоняя евреев к русским и то лучше. Он не зря так думает. Для него служить и беспрекословно подчиняться долгу – вся жизнь, сама суть его жизни и пути. Он иногда очень ясно чувствует, что никак иначе жить бы не смог. А подобное… грязь, неотделимая от системы и дела, да… И предательство, которое по большому счету нужно безжалостно искоренять, ибо оно очень опасно и однажды, лишь дай волю, способно всеобщую сплоченность, преданность делу и долгу погубить. И конечно – бывает неумолимая необходимость судьбы и хорошо знакомые в собственной душе искушения, перед которыми он пока умеет умно и сурово устоять. А тут это всё затевается, вовсю бурлит и пестуется – вместе со служением долгу, но одновременно будучи предательством и часто заставляя самыми прямыми целями долга пренебрегать. Словно только для этих целей, для возможности «бонз» и провинциальных выслуг и карьеристов нажиться на черный день, немецкая воля победоносно пришла в Польшу и раздробила, искромсала и растоптала ее. И он оказывается в мучительном положении – закрывать глаза долго не выйдет, примириться он не сумеет, а прямо против «сверху» благословляемых порядков и нравов не полезешь. И всё это часто – вместе с масками «утонченности» и «наслаждения высоким», которые заставляют или по крайней мере: настойчиво побуждают надевать и его… Мол, и «прирастет», перестанет ощущать тягость и скуку, и высшему начальству придется «своим», а для его должности и чина в генерал-губернаторстве это важно… А он к такому душой не лежит и вынужден подыгрывать, но при этом же тушеваться, испытывать стеснение и в конце концов себя, образцового человека долга и служаку, настоящего именно в самой сути немца, собственное достоинство и значение унижать…

…Оберштурмбаннфюреру уже даже хочется услышать музыку, ради которой его сюда притащили. Чтобы наконец-то закончились шутки, умные и не очень, лицемерные любезности и прочее, все расселись и появилась пианистка, которую так рвался послушать Зейс-Инкварт… Он со смехом подмечает в себе подобное желание и нетерпение. Однако, его старшие коллеги, как он убеждается этим вечером, любят именно всё вместе – расслабленное общение в избранном кругу, пересуды и смакование новостей или чьих-нибудь острот, неторопливое наслаждение атмосферой и в конце, как изюминка и повод для взрыва эмоций, любимая ими музыка. Он и сам ощущает сегодня нечто подобное, от этого в первую очередь и получает удовольствие. Вся беда, что нужно вправду любить – музыку, утонченное и «накоротке» общение с вышестоящими, которое в обычных обстоятельствах жизни и службы возможно редко… Он сегодня чем-то таким проникается, особенно – благодаря искреннему расположению коллег, которые доброжелательно вводят его в свой «избранный», приверженный высоким вкусам и радостям круг, раскрывают ему объятия, так сказать… В очередной раз тщательно приглядываясь к нему из под расплывшихся улыбок… Черт его знает, может и вправду станет на таких «сабантуях» завсегдатаем, войдет во вкус… Даже научится расслабляться среди тех, настоящего доверия

к кому пока нет и возможно так и не возникнет. Но он практик, черт раздери, человек дела с закатанными рукавами. И любит дело именно со всеми ямами дерьма и крови, которые от того неотделимы. О, среди тех, кто диктует и провозглашает долг всех и каждого, редкие знают, что же на самом деле значит беззаветно и преданно исполнять долг, чего это может очень конкретно, практически потребовать! И какую величественную, по настоящему возвышенную жертву приносят люди, которые соприкасаются с практикой дела и долга лицом к лицу, конкретными вещами! Служат долгу «на передовой», так сказать, а не с трибун и в кабинетах! А он именно этим и живет – любя службу, гордясь успехами и собой. Особенно же уважает себя и гордится, ощущает его нерушимое нравственное значение, когда понимает, на что во имя нее способен. Он и подобные ему – основа всего, общего дела и успеха, на них всё стоит, лишь благодаря их жертвенной преданности великие цели и замыслы Фюрера вообще становятся возможными! Да-да, только благодаря их возвышенной и жертвенной готовности во имя дела и долга на то, что большинству обычных немцев, пусть даже преданных нации и Фюреру, не по силам! Он множество раз говорил это себе. Он таков и должен не стесняться, а именно нравственно ценить и уважать себя, бесконечно. И так это конечно и есть, особенно – когда нравственное величие в безраздельной преданности делу и долгу, удается сочетать с настоящим вдохновением, нахождением блистательных путей к цели, совершением чего-то легендарного! О, это мгновения истинного счастья и чувства, что живешь, убиваешь и мучишь, рьяно служишь делу и быть может вскорости сам ради него умрешь не напрасно! Но когда он вспоминает, что с преданностью и без колебаний делает изо дня в день ради долга и службы, то вместе с уважением к себе ощущает словно бы неуместность, странность его присутствия здесь. О сути долга и дела, что же они вправду значат, он знает собственными руками, нравственно целен и уважает себя в этом. И оттого не понимает, как можно надевать на себя все эти мины упоения «высоким» и «прекрасным» или же, что кажется еще хуже, вправду искренне восторгаться. Часто от такого просто тошнит. Да и холоден он ко всему этому, равнодушен. Он во имя дела и долга погружает руки в кровь, по локоть и давно уже безо всяких колебаний, но именно этим по настоящему высок, достоен и годен! В его настоящем, а не кабинетном служении долгу, он поглощен и увлечен обычно совершенно другим. И в мечтах о теплой и искренней компании, о душевном общении, ему бы именно о деле поговорить, о работе! О том, что по ходу службы постигаешь, учишь. Об открываемом в ее опыте – о, там такие вещи подчас вылазят! Обо всем, что в работе удалось и принесло пользу! Вот разговором бы об этом душу погреть, о насущном и вправду важном! А такого нет. Однако, иногда всё же наоборот – его способность «выстоять» и оказаться к месту на совсем ином уровне общения, внимание и искреннее уважение к нему людей, которые с практикой дела лицом к лицу не знакомы, но зато вправду ощущают и понимают ему недоступное, важно и льстит ему, греет ему душу. Вот как нынешним вечером. Отлично уже одно то, что он сегодня чувствует себя здесь «своим», принятым и уважаемым, «в своей тарелке». Оказывается достоен и даже в избытке находит в себе для этого нужное. «Только вот навряд ли переменится его отношение к музыке!» – при мыслях об этом оберштурмбаннфюрер ухмыляется. Он каков есть. Он настоящий и цельный душой немец, потому что служа долгу и делая ради этого чуть ли не последнее, не зная на подобном пути преград, ничего не изображает и принимает себя, каков он есть, вот именно такого себя ценит, уважает и любит, ощущает значимым. По крайней мере – в его преданности долгу и способности, если нужно, на жестокость мер, призванных долг выполнить, по уши окунаться ради этого в грязь, ни чуть вместе с тем не дрогнув, не заколебавшись и не постеснявшись, он гораздо более настоящий немец, нежели подобные Инкварту: марающиеся во имя дела в крови еще страшнее, хоть и не собственными руками, но зато поглядите, сыплющие разговорами об «утонченных» и «высоких» предметах и млеющие от звуков, в которых он, говоря честно, иногда не слышит ничего, кроме назойливого и утомляющего шума. Точно – ничего, способного его затронуть, заинтриговать, привлечь внимание если не до увлеченности и восторга, то

хотя бы до обычного интереса. Он бывает стушевывается перед старшими коллегами, чувствуя недоступность ему их вкусов, а иногда считает именно так. Оберштурмбаннфюрер заканчивает небольшой, отличного хрусталя бокал со шнапсом. Что значит немецкий шнапс – наслаждение и душевная легкость, а ум кристально ясен и работает четко! Да и пора уже, нужно возвращаться в компанию, а то всё сегодня достигнутое рухнет прахом и за ним и вправду, со всей безнадежностью укрепится репутация истинного немца, талантливого человека долга и дела, но при этом грубого и почти нелюдимого медведя, которому в обществе «сливок» и высших чинов места нет, как не тяни за уши и не открывай объятия. А он именно человек дела. Он любит дело и службу, делать дело умеет отлично и подчас вдохновеннее всех этих артистов, служителей муз и «высокого», а по сути – таких же клопов и червей, как очкатые университетские профессора, встречавшиеся ему по работе во множестве: шикни не слишком громко, и вполне хватит, а обвести вокруг пальца, использовать так и эдак для цели, приведя в конце в яму, вообще никаких проблем нет. Он ради долга и дела погружается в грязь, совершает страшные вещи именно с тем чувством, что никак иначе нельзя и такова главная обязанность. Часто – с нравственным удовлетворением, ибо именно так доказывает себе и другим преданность долгу до конца. И значит – его высшую годность и значимость. А потому – ни связанной с этим грязи и крови, ни его природной и лишь укрепившейся в судьбе душевной грубости не стесняется. По крайней мере, старается. Он без остатка верен долгу, служение которому – вся его жизнь. Он умеет делать для этого что угодно и надлежащим образом груб, ибо иначе не выйдет, вообще грубоват, да… Однако, немец может быть настоящим сыном нации и солдатом Фюрера только так или же – в первую очередь так. А остальное…

…Он в отношении к себе трезв и честен, но от этого уважает себя, ценит себя и ощущает собственное значение ни чуть не меньше! Он служака и человек долга, грубый душой, подчас безжалостный и жестокий, ибо никак иначе нельзя, но в деле и исполнении долга он талантлив, на любом доверенном ему месте полезен и стоит дорого. На таких как он стоит всё, благодаря им и их беззаветной преданности делу возможны успехи, которые ныне так окрыляют и вскорости обещают поразить, содрогнуть и повергнуть во прах врагов. И то, что он, в отличие от его многочисленных шефов и «бонз», безразличен к музыке и остальным «утонченным» вкусам и забавам, хоть и заставляет его временами тушеваться и чувствовать себя неуютно, но чаще возмущает, раздражает, ибо его значения и достоинства как человека долга и истинного сына нации умалять не должно. Он таков – и что? Именно такой, он – настоящий немец и человек долга, в отличие от многих, вышестоящих и более «тонких душой», долгу верен и в службе, в исполнении оного, словно артист подчас талантлив и блестящ. Любое задание и приказ умеет воплотить кому угодно на зависть, заставив как часы повиноваться сотни людей и нанося врагу безжалостный, сокрушительный удар, так из года в год зарабатывая имя и становясь легендой, но главное – стараясь походить в этом на Фюрера и следовать заветам, который тот обращает с трибун к каждому. И если у немца есть путь быть истинным сыном нации, то в первую очередь и именно так – будучи верным и преданным долгу, нации и ее делу, воле Фюрера безгранично, служа им множеством конкретных и часто тяжелых вещей, целиком отдавая себя. Беккер, которого он еще месяц назад называл в мыслях «хитрым пронырой» и «собакой», однажды давший ему для этого повод, совсем не зря хотел его для акции с профессорами и вообще – удержать при себе. Он был лишь главой провинциально «гестапо», но его служебный талант – талант воли, решительности и преданности долгу, его умение быть в деле безжалостным, хитрым и несломимым, переступающим подчас через что угодно и готовым вцепиться и идти до конца, до полного сокрушения врага и торжества долга, доказал себя даже там. Вплоть до того, что герр группенфюрер Беккер, однажды укравший у него блестящие результаты в акции с подпольем – настоящие, а не придуманные и на бумаге, решил не упустить случая и вновь использовать его, вцепился в него как коршун, не трепыхнешься. Ибо его

возможности и таланты в деле знает и конечно же, поверх всех игр в рапортах и отчетах ценит. Злит и радует одновременно. О, он помнит… Он был тогда словно шахматный чемпион умен, хитер, блестящ и вдохновенен, раскрыл настоящую масштабную сеть из коммунистов, бывших университетских профессоров, писак и прочей нечисти, а еще больше врагов сумел грамотно, подводя под Закон приписать к делу! И был доволен и горд собой, по праву ждал награды… Беккер стал тогда группенфюрером, а он, словно ничего особенного и не сделавший, лишь через год был переведен в Вильгельмсхаффен, якобы «на повышение». Однако – и в Вильгельмсхаффене он служил преданно, талантливо и с душой, с удовлетворением от работы и чувства выполняемого «на отлично» долга. И чем наблюдать здешние нравы, служить чьей-то карьере и клацать зубами от злости – из-за этого и отсутствия настоящей работы, тонуть в тоске и скуке, всеобщем лицемерном недоверии, так лучше бы он продолжал делать дело там, искусно и талантливо, его репутацию лишь укрепляя, по прежнему был бы хозяином ситуации и одним из главных лиц округа. Система не безупречна… Очень много дерьма всплывает, только дай волю… Но он хочет служить там, где больше сути и верности долгу, возможности проявить себя и талант, а вынужденности видеть предательство и делишки, но быть лояльным или замешанным, закрывать глаза – менее…

…И вот, он еще потому не любит Краков, что будучи таким – талантливым в службе, как немец и человек долга цельным, на любом месте исключительно полезным для дела, он именно грубоват, музыку и искусство чувствует и понимает мало, вечно пасует из-за этого в общении с высшими по рангу коллегами и вынужден пытаться что-то изображать, надевать маски и в конце концов ощущать себя часто черти чем и чуть ли не унижать собственное достоинство… да-да! Ведь именно таков, каков он есть, он любит и уважает себя, ощущает собственное значение и подстраиваться под кого-то и чьи-нибудь «избранные», непременно должные быть вкусы, пытаться изображать разное и показывать сопричастность вещам, которые ему на самом деле безразличны и чужды, чувствует именно оскорбительным для себя, унизительным! Делает это, и временами быть может даже успешно, ибо развит и вовсе не глуп, но чувствует именно унизительным. Для того, чтобы иметь имя и быть настоящим немцем, вполне достаточно быть просто человеком долга, преданным делу и в нем талантливым, в движении к цели и исполнении долга рьяным, вдохновенным и умным, подчас похожим чуть ли не на художника, находящим всякий раз простые или сложные, но одинаково блестящие, сокрушающие врага решения. Он искренне считает так. И именно в деле, которое любит и делать умеет, что доказал не раз, в отличном исполнении долга ощущает себя художником и виртуозом, настоящим мастером, асом и блестящим игроком, вправду значительным человеком, достойным всего возможного уважения на свете. Да что там – нередко вообще словно бы самой Судьбой, ее орудием и лицом, ее вершителем! Вот тем настоящим немцем и сыном нации, о котором так часто говорят с трибуны Фюрер, доктор Геббельс и многие другие. Именно в этих обстоятельствах и так, а не в концертном зале и млея от музыки, якобы тонко чувствуя то, к чему на самом деле безразличен. И имеет на это право, а если уж совсем честно – искренне считает, что только так и должно быть, ибо верность долгу, талант в деле и служении долгу, талант воли, преданности и действия, есть главный и высший, нравственный талант! И если есть у немца шанс и путь быть настоящим сыном великой нации – то именно так. А на сборищах «сливок» и «бонз» он с давних пор чувствует другое… ощущает себя обязанным испытывать и демонстрировать то, что ему чуждо, возможно – вообще недоступно. Просто недоступно, вот и всё. И потому, хоть вроде бы он ладит с Беккером и многими другими, не раз уже пил якобы дружелюбно с «бонзами», секретарями генерал-губернатора и прочее, он всё равно пока остается здесь словно бы «в стороне», одинок и компании, по настоящему душевного общения не находит, ощущает себя в отношении к старшим коллегам не по рангу, а именно в сути на совершенно ином, гораздо более низком и кажется иногда непреодолимом уровне…

…Однако – сегодня всё совсем иначе. Этим вечером, по множеству причин и из-за необычной уютности, привлекательности места, он чувствует себя хорошо и даже в ударе, не один раз отлично пошутил, обласкан вниманием и расположением коллег, а потому – настроение у него прекрасное. И он полон самых разнообразных, благостных предвкушений. И касающихся дальнейшей службы, подстегнутых уважением Инкварта и остальных. И очень простых – он неожиданно обнаруживает, что при всем давнем скепсисе к музыке и самому себе в качестве слушателя в зале, настроен сегодня всё же попробовать «что-то почувствовать», понять, от чего же собственно остальные так млеют и впадают в экстаз, часто чуть ли не сходу. Он позволил уговорить себя прийти и настроен по крайней мере попытаться разобраться, понять и слушать, хоть заранее знает результат и мысленно посмеивается. Сегодня именно один из тех дней, когда ему кажется, что он «прирастет» в Кракове, найдет способ не тосковать и достойно исполнять здесь долг, по крайней мере – пока не отыщется место получше, более откликающееся заветным мечтам и целям. И вообще – ему просто неожиданно тепло и хорошо здесь. И внезапно хочется расслабиться, отключиться от обычных тревог и мыслей, отставить их в сторону, послать к черту, просто насладиться обстановкой, мгновениями и тем, что они обещают. Отличный вечер, послушаем же и посмотрим. Удовольствие он в любом случае уже получил. И оберштурмбаннфюрер вдруг решает, что слишком уж и совсем не сообразно ситуации позволил себе отдаться пускай и важным, но тяжелым воспоминаниями и мыслям. И вместо них обращается к воспоминаниям прекрасной молодости, затевает удачный обмен шутками с Беккером и Инквартом, а только что бывшие мысли как-то сами собой, словно дымка исчезают, оставляют его…

…Офицеры, числом человек тридцать пять, сами раздвигают столы, выстраивают кружевных контуров стулья рядами, садятся и ждут концерта, смеются и переговариваются о делах. Входит пианистка, но оберштурмбаннфюрер по началу ее не видит, потому что обменивается как ему кажется утонченной шуткой с сидящим справа через Беккера Инквартом – немецкие офицеры здесь хозяева и им решать, как и когда соблюдать приличия, а пианистка или какой-то другой артист пусть делают свое дело. Поэтому разговоры обычно затихают еще долго. Вот и оберштурмбаннфюрер еще уморительно смеется с Инквартом и Беккером над вспомненным из времен университетской молодости венским анекдотом, собирается коротко рассказать еще один, на музыкальную тему, что-то на счет Малера и Шенберга, чтобы словно само собой разумеясь показать, что он мол «тоже» и «совсем не чужд», и просто мельком, случайно обращает голову в сторону рояля и усаживающейся возле того пианистки… Он замирает, застывает внезапно, так и не закрыв до конца только что рассказывавший анекдот и смеявшийся рот… Его привыкшие быть мелкими щелочками глаза округляются кажется до невозможного, становятся такими, какими их редко кто видел, впиваются в пианистку… Вместе с резкой, неожиданно взятой им и такой внятной для всех паузой, быстро стихают и приготавливаются слушать и остальные, пианистка понимает, что можно приступать, и начинает лить в зал игривые, нежные и неприхотливые звуки моцартовской сонаты. Это сразу приходится по душе собравшейся публике, офицеры бросают приглушенные радостные возгласы, расплываются в улыбке удовольствия, а Инкварт, сидящий от оберштурмбаннфюрера через Беккера справа, закатывает голову назад и закрывает глаза, заливается улыбкой высшего наслаждения так, будто ему только что дали посмаковать несколько капель полувекового французского коньяка. Всего этого оберштурмбаннфюрер не видит и не воспринимает, как практически не слышит, не разбирает слухом зазвучавшей музыки. Он видит только сидящую почти напротив него пианистку, вперился в нее взглядом и не может прийти в себя и перестать на нее смотреть – потому что никогда ничего подобного не видел и на его лице, в его наверное еще никогда так широко не раскрывавшихся глазах, застыло выражение глубочайшего изум-

ления, почти шока, он словно произносит мысленно «это что такое?!» Ему внезапно кажется, что он перенесся в свой, бывший два года назад визит в Дрезден, на совещание к главе дрезденского «гестапо» Едамцику. Тот, как и положено, после дел повел собравшихся офицеров показывать «свои владения» и завел их на несколько минут в Цвингер. Так вот, оберштурмбаннфюреру сейчас вдруг показалось, что он снова в Цвингере и смотрит не на играющую Моцарта пианистку, а на белокурую Мадонну какого-то там итальянского художника, что-то на букву «Б», «челли», «релли» или «мелли», не упомнить, тогда поразившую его своим образом и обликом, совершенной чистотой и красотой линий лица. Вот что-то подобное глядело на него сейчас в облике существа, перебирающего клавиши и извлекающего из них почти что не слышимые оберштурмбаннфюрером звуки. Какая-то не вероятная, немыслимая, сверкающая красота лица, красота и вожделенность всего облика, она похожа на Мадонну или королеву со старинных полотен. Изящна и стройна, но не хрупка, напротив – тело и его движения налиты упругостью и силой, той неожиданной силой, с которой она заставляет звучать рояль. Грудь упруга и прекрасной формы, достаточно обнажена в декольте, кожа бархатистая и изумительного, насыщенно телесного, дышащего жизнью цвета, бедра невероятно выпуклы и женственны, как он может рассмотреть со своего места, что же до укрытых длинным платьем ног, то следуя логике, в их красоте и стройности сомневаться тоже не должно было быть причин. Пианистка уже довольно долго играет, а он всё не может выйти из состояния шока, наконец, решается отвести словно прикованный к ней взгляд и посмотреть вокруг – окружающие его кажется и вправду увлечены музыкой, получают удовольствие и словно не видят и не чувствуют до конца того, что он. Ах ты ж, черт – он никогда не встречал такой красоты, какой-то и не реальной, и до пугающе реального вожделенной, вызывающей немыслимое желание обладать! Он видел много красивых и вызывающих желание женщин – полно прекрасных немок и швейцарок, красивее же француженок-эльзасок ему казалось вообще ничего быть не может, но в это мгновение он вынужден признать: женщины настолько необычно и царственно, нереально красивой, ему встречать еще не доводилось. Пианистка заканчивает первую часть сонаты, но офицеры в зале в таком восторге, что нарушают приличия и разражаются грохотом аплодисментов и криками «браво!» Пианистка исполняет еще две части сонаты, которые пролетают для оберштурмбаннфюрера незаметно, как одно мгновение, потому что он продолжает смотреть на эту женщину и не верит, что всё это ему не снится. Значительно более долгий грохот аплодисментов, шквал экзальтированных, с гортанной глубиной криков «браво!», Инкварт на самом деле кажется искренне забыл о приличиях и с огнем и воодушевлением в глазах орет «браво!», как наверное привык в своей венской опере или филармонии, или что у них там, и оберштурмбаннфюреру кажется уже, что он находится посреди огромного концертного зала, а не в маленьком ресторанчике «Nur fur Deutschen» в подворотнях улицы Флорианской. Она вновь усаживается и настраивается что-то исполнять, но пока она стояла и с царственным, будто совершенно безразличным достоинством принимала восторги и кланялась, он успел разглядеть ее фигуру и облик в целости и еще раз был потрясен необычной чистотой линий и конечно же – сильными, упругими, совершенными по контурам, не слишком тонкими и не дай бог не толстыми даже хоть чуть ногами, читавшимися под длинным голубым платьем. Она снова начала играть. Ну да, конечно же, он знает эту сонату, раздери черт, ее написал Бетховен и она очень известная, он часто слышал ее начало по радио и просто не помнит ее названия! У нее какое-то особенное, итальянское, кажется, название… Вот, затаенно и с сокрытой силой, но не громко, начинаются неторопливые звуки, проходит их ряд, а потом они снова возвращаются через очень мощные, вызывающие мурашки по коже аккорды, и оберштурмбаннфюрер поражается, с какой телесной и душевной мощью, не ожидаемой ни от ее облика в целом, ни от ее изящных ручек с совершенной формы пальчиками, она обрушивается на огромный рояль и вынимает из него эти аккорды, словно превращая рояль в живой, страдающий и стонущий, кричащий, рыдающий, гневливо возмущающийся, поющий тонко или

проникновенно, что-то шепчущий по ее прихоти организм… Нет, всё же конечно что-то есть в этой музыке, недаром ее называют немецкой и не зря немцев всегда представляют восхищающимися и восторгающимися ею! Кажется – недаром Фюрер и доктор Геббельс придают важнейшее значение музыке вообще и все собрания с их участием происходят под марши, способные силой рождающихся чувств и эмоций вздыбить человека, разорвать тому грудь, сделать его способным на что-то значительное или даже великое! Оберштурмбаннфюрер подмечает для себя, что аккорды и запертая между ними мелодия вдруг выливаются в какой-то фривольненький, светло и мечтательно звучащий маршик, что-то похожее на «марсельезу» из времен французской революции и видимо призванное на революцию указать, и честно – вдруг разочаровывается. Зачем это вдруг тут, дерьмо? Ну да, этот Бетховен же кажется был сторонником Наполеона, наверное был увлечен революцией и бунтами, но зачем это всё здесь? Вот ей-богу – только он заинтересовался и удивился самому себе, почувствовал гордость за переживания, которые испытывает, и сразу неприятно. Он снова вперяется глазами в белокурую королеву за роялем и впитывает ее облик. Он хочет эту женщину, он хочет, чтобы она была его. Всё желание, которое накопилось в нем за те три месяца с начала кампании, что он не прикасался к женщине, вдруг взметнулось в нем, поднялось в грудь, заставило задыхаться и с трудом справляться с грохочущим и заколотившим сердцем. Внезапно он еще раз слышит французский марш, который отвлекает его от ощущений и этой женщины и начинает уже вызывать в нем ярость – на кой черт тот здесь нужен, зачем он, дерьмо, вообще должен это слушать? Однако, оберштурмбаннфюрер вдруг сосредотачивается – марш звучит уже иначе, окрашен в совершенно другой цвет, что ли, в нем слышатся тревога перед предстоящим, борьба… Он вдруг обращает оберштурмбаннфюрера к сознанию происходящего каждый день, войны и неизвестности того, что будет завтра, той борьбы за право для нации быть, которую под руководством Фюрера ведут тысячи таких же немцев, людей долга и дела, патриотов. Марш вдруг снова исчезает и опять повторяется всё то же – могучие аккорды, извлекаемые пианисткой из рояля так, будто музыка разрывает ее, какая-то короткая мелодия между ними и еще кажется бетховенские «четыре звука», поначалу не замеченные оберштурмбанфюрером и зачем-то вставленные в эту вещь. И оберштурмбаннфюрер внезапно понимает, что согласно уже наметившейся логике, марш непременно должен еще раз вернуться и вернуться каким-то другим, говорящим что-то иное, и начинает ждать этого, не понимая, от чего больше волнуется – от вида этой женщины, застилающего ее вид и сознание паморока желания, или от ожидания марша и того, что тот скажет, как он зазвучит… Вот, он понял и почувствовал, сейчас это настанет – пальцы пианистки отчаянно, словно в предсмертной конвульсии тела, с безумной быстротой бегут, скачут, ударяют по клавишам, мучат и рвут их, словно передавая им часть муки, которой раздираемы сами, то ли рождают и извлекают из них звуки, то ли цепляются за льющиеся звуки, как тонущий в бурном потоке и обреченный погибнуть, судорожно и напрасно цепляется, хватается за пенящиеся гребешки волн… Оберштурмбаннфюрер Бруно Мюллер не может оторвать глаз от бегущих рук и пальцев, ему кажется, что те сейчас не выдержат боли и напряжения и застынут намертво, и почти так и происходит – пальцы и словно в мучении изогнутое над клавишами тело пианистки внезапно замирают, а потом раздаются эти знаменитые бетховенские «четыре звука», словно предвещающие судьбу, похожие на колокол судьбы или на ее содрогающее, повергающее в ужас и холод появление в распахнутых дверях… Только сейчас они звучат не как то, что пришло торжествовать и взять положенное – как он тогда в зале, пришел объявить ныне гниющим в Заксенхаузене очкатым червям уготованную судьбу, а словно предчувствие и пророчество колдуньи, попытка заглянуть в темноту будущего… И вдруг оберштурмбаннфюреру кажется, что треснул и рушится потолок – этими четырьмя звуками, превращенными в аккорды, маленькие ручки даже не ударяют, а изо всей возможной силы шандарахают по клавишам, заставляя рояль и всё окружающее пространство загрохотать, и вот тот самый марш, полным ярости, накала борьбы и смертельной схватки шквалом прорывается

и начинает нестись за ними, нарастает и заверчивается с надрывом как вихрь, словно солдат, пошедший в рукопашную, отчаянно и из последних сил пытается задушить врага, грохочет финальными аккордами, похожими на рушащиеся скалы. И оберштурмбаннфюреру Мюллеру вдруг представляется то, что может произойти в реалиях войны в любую минуту – что он поднял роту своих солдат в бой и сам ринулся в бой вместе с солдатами и впереди них, и каждую секунду ждет, что почувствует удар вошедшей ему в лоб, в грудь или в живот пули и с этим всё кончится, или же сшибётся в рукопашную с врагом, будет стараться кромсать вражеского солдата прикладом и ножом и неизвестно победит ли, и всё тоже может быть кончится, и он готов и просто рвется на встречу смерти и судьбе со свирепой, остервенелой яростью. Звуки и грохот музыки затихают, им на смену приходит какой-то невообразимый треск и грохот аплодисментов и криков, а он уже ничего не понимает и не в силах сосредоточиться, обнаруживает себя сидящим с выпученными глазами и рычащим, хрипящим что-то дыханием и грудью. Он, внезапно и удивляя Беккера и Инкварта хрипит, с трудом выдавливает из горла «браво», на какое-то мгновение обессилев, погружается в спинку стула, пианистка в это время начинает играть дальше, следующие части сонаты, но ему нет до этого никакого дела, он уже почти не слышит музыки. Всё последующее – окончание сонаты, аплодисменты совсем зашедшихся в экстазе офицеров и исполнение двух вальсов Шумана проходит мимо его глаз, слуха и сознания как в тумане, словно кажимость или что-то происходящее не с ним, будто он находится в состоянии какого-то дурмана. Он ничего этого не слышит, не видит и не воспринимает. Он видит только эту женщину. Он прикован к ней взглядом округленных до нельзя глаз, выражающим только одно – жажду обладать и глубокое потрясение. Всё дальнейшее происходит так же в состоянии какой-то внутренней отстраненности – он встает со всеми в конце выступления, долго аплодирует, не спуская с пианистки глаз, но ничего не крича, что-то в «восхищенных тонах» произносит в недолгом разговоре с Инквартом, Беккером и адъютантами генерал-губернатора (Инкварт исходит восторгом от пианистки, о которой много слышал перед этим), вскоре прощается, выходит на улицу и на морозном декабрьском воздухе вдруг абсолютно успокаивается и ощущает, что и его побуждения, и его мысли и планы обретают совершенную и ясную определенность. Он хочет эту женщину. Он хочет обладать ей. Он хочет, чтобы она была его, принадлежала ему. Он хочет жадно и грубо целовать ей губы, зажать ее рот в свой, рискуя причинить ей боль. Он хочет врываться в нее… хочет, чтобы она кричала под ним, охватывала его упругими ногами, билась под ним своим совершенным, изящным, но таким сильным телом, с искренней страстью целовала его в ответ. Он вспоминает вдруг то, к чему привык как к нечто само собой разумеющемуся, о чем уже забыл – если разобраться, за всю жизнь, со времен университета и до начала кампании, еще не было ни одной женщины, которая бы отказала ему, почему-то его бы не захотела. А он имел немало женщин, красивых женщин. Она будет его. Она будет лежать под ним, множество раз. Он заставит ее делать то, что хочет его воля. Он найдет, как это сделать. Он уверен в этом – так же, как практически месяц назад был уверен возле своего затаившегося в переулке «опеля» в успехе проводимого дела, что дело уже почти состоялось и просто должно быть закончено, и сгрести очкатых червей, запихать их в арестантские фургоны и отправить в тюрьму и концлагерь, до забавного не составит никакого труда. Всё это он думает и ощущает очень спокойно, без тени того надрыва в переживаниях, который владел им последний час. Пока он всё это думает и чувствует, его глаза снова превращаются в узенькие, маленькие щелочки, движения становятся твердыми, четкими и точными, но не теряют спокойствия. Он вдруг решает, что хочет поработать. Девять часов вечера, почему бы и нет. Служебный «опель», довозит его до здания на Поморской, он поднимается к себе в кабинет, нажимает кнопку вызова дежурного офицера-секретаря. Через полминуты тот появляется в дверях, щелкает каблуками и вскидывает руку, кажется – совершенно не удивлен его позднему появлению.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.